

12+
СЕРГЕЙ КИРНИЦКИЙ

Жертва познания

ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ
ПРЕВРАЩЕНИЯ



Сергей Кирницкий

**Жертва познания. Естественная
история превращения**

«Издательские решения»

Кирницкий С.

Жертва познания. Естественная история превращения /
С. Кирницкий — «Издательские решения»,

Один отдал глаз за глоток воды из колодца мудрости. Фауст получил всё сразу и расплатился потом. Между этими двумя столами живёт вопрос, который человек задаёт себе всякий раз, решаясь на перемену: чем за неё платят и получает ли платящий обещанное. Книга ведёт от скандинавского мифа через физику, биологию и психологию к самому неудобному — к тому, что происходит с человеком, который заплатил сполна.

Содержание

Часть I. Вопрос	6
Глава 1. Один у колодца	7
1.1. Миф	7
1.2. Тот же жест повсюду	9
1.3. Второй у стола	11
1.4. Тезис и обещание	13
Глава 2. Что именно мы утверждаем	16
2.1. Ситуация	16
2.2. Сохранение	18
2.3. Затрата	20
2.4. Компромисс размерностей	21
2.5. Разрушение-как-условие	23
2.6. Альтернативные издержки	25
2.7. Буквальное или аналогия	27
2.8. Зарубка: а кто гарантирует?	29
Часть II. Свидетельства реальности	30
Глава 3. Физика: сохранение и энтропия	31
3.1. Первый закон	31
3.2. Второй закон	33
3.3. Неопределённость	35
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Жертва познания Естественная история превращения

Сергей Кирницкий

Дизайнер обложки Created with Grok

© Сергей Кирницкий, 2026

© Created with Grok, дизайн обложки, 2026

ISBN 978-5-0070-8865-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть I. Вопрос

Есть жест, который человечество повторяет так давно, что перестало его замечать. Отдать часть себя — за то, чего иначе не получить. Не обменять лишнее, не уступить чужое, не пожертвовать тем, чего не жалко, — отдать своё, живое, невозполнимое. Этот жест рассыпан по мифам народов, которые не знали друг о друге, не читали друг друга, не могли друг у друга заимствовать. Скотовод из северных фьордов и монах из долины Ганга, не имея общего языка, общих богов и общей истории, рассказывают, в сущности, одну историю: чтобы стать другим, нужно перестать быть прежним, и это перестанет болеть не раньше, чем перестанешь быть тем, кому больно.

Совпадение слишком системно, чтобы быть случайным. Когда независимые наблюдатели, глядя на небо из разных полушарий, рисуют одну и ту же карту звёзд, мы заключаем, что звёзды существуют. Когда независимые традиции, глядя на человеческую жизнь из разных тысячелетий, описывают одну и ту же цену перемены, стоит хотя бы допустить: они видели нечто реальное. Не наказание — в этих историях никто не карает платящего. Не жестокость рассказчика. Условие. Цена стоит в этих сюжетах там, где в других стоит дверь: через неё входят.

И если это условие, а не орнамент, то вопрос, который древние сюжеты задают, обращён не к героям. Он обращён к тому, кто слушает. Что отдаёшь ты — и когда? Вопрос этот удобнее не слышать, и большинство его не слышит. Но начать придётся с места, где он был задан впервые и всего отчётливее: с колодца под корнями мирового дерева, к которому однажды пришёл бог.

Глава 1. Один у колодца

Странная арифметика: у него есть всё — и он приходит отдавать. Бог, которому принадлежат небо, война и поэзия, спускается к тёмной воде, чтобы оставить в ней часть собственного лица. И миф, рассказывающий об этом, не скорбит. Ни одной ноты жалости, ни слова о потере — сказители произносят это с той интонацией, с какой говорят о приобретении. Что они знали о мире, чтобы считать увечье входом?

Плата первой фигуры отдана сейчас, зряче, до глотка. Вторая встанет у той же черты, но по другую её сторону: она получит сейчас, а платить будет потом. Между ними не будет вывода — две сцены встанут рядом, как встают рядом два стола одной сделки, и будут молчать. И одно обещание — читателю: то, что здесь показано образом, книга возьмётся проверить всерьёз.

1.1. Миф

Под одним из трёх корней мирового дерева стоит вода. Корень уходит туда, где кончаются имена: выше — крона, держащая девять миров, ниже — то, о чём сказители говорили неохотно и вполголоса. Там холодно. Там не растёт трава и не поют птицы; свет туда не спускается — не потому, что ему запрещено, а потому, что ему там нечего делать. И там, в вечных сумерках у изнанки мира, стоит вода. Не течёт — стоит: колодец, а не река. Тьма в нём старше богов; те, кто рассказывал об этом, знали разницу между водой, которая бежит, и водой, которая помнит. Бегущая вода уносит; стоячая — копит. В колодце Мимира вода помнит. В ней растворено всё, что было, — не как отражение, а как осадок: медленный, тяжёлый, осевший на дно вместе со всем, что миру пришлось узнать о себе. Кто отопьёт — узнает тоже.

У воды сидит хозяин. Мимир не бог и не великан, вернее — уже неважно кто: он так давно при колодце, что сам стал его частью, сторожем и мерой в одном лице. Он пьёт из колодца каждое утро и потому мудрее всех живущих. Но он никого не зовёт и никого не гонит. В нём нет ни искушающего, ни судьи: он не расхваливает свою воду, не запугивает ценой, не отговаривает и не уговаривает — он безучастен, как безучастны весы. Он просто сидит у воды и ждёт — не кого-то определённого, а того единственного вопроса, ради которого к такой воде приходят.

И однажды приходит тот, у кого есть всё. Один — отец богов, хозяин Асгарда, повелитель битвы и опьянения, тот, кому служат волки и вороны. Дорога к колодцу не описана в подробностях, но одно ясно: она идёт вниз. К такой воде не поднимаются — к ней спускаются, и спуск этот длиннее, чем расстояние: от престола, с которого видно все миры, — к тёмной луже под корнем, в которой не видно даже дна. Он приходит не как проситель — просителями к колодцу не приходят, у просителей нет того, чем здесь платят. Он приходит как тот, кто уже понял: всей его власти недостаточно, чтобы знать. Власть распоряжается тем, что есть. Мудрость видит то, чего ещё нет, — и то, что есть на самом деле, под слоем видимого. Между первым и вторым — глоток тёмной воды.

Один просит пить. Мимир называет цену.

Миф не сохранил их разговора — вероятно, потому, что разговора не было. У такой воды не разговаривают: цена здесь не назначается, как назначает её торговец, прикидывая, сколько выдержит покупатель, — она называется, как называют глубину или вес, как сообщают свойство вещи. Сколько стоит глоток — вопрос того же порядка, что сколько весит гора.

Здесь миф не торопится, и мы не будем. Цена — не золото: золота у Одина больше, чем у любого смертного, и именно поэтому оно ничего не стоит. Золотом платят за то, что можно передать из рук в руки; мудрость из рук в руки не передаётся — стало быть, и плата

должна быть такой, какую нельзя взять из сундука. Не жертвенный скот, не оружие, не клятва верности. Мимир называет глаз. Глаз отца богов — за один глоток.

Заметим, чего в этой сцене нет. Нет торга: Один не предлагает два пальца вместо глаза, не спрашивает, нельзя ли в рассрочку, не пытается выяснить, откуда такая цена и кто её устанавливал. Нет и принуждения: Мимир не держит его за горло, над ним не стоит судьба с занесённым мечом. Он может повернуться и уйти — двуглазым, зрячим, целым. Царство останется при нём, вороны будут летать, волки лежать у трона. Он просто не будет знать. И миф даёт понять: это «просто» — самое тяжёлое, что есть в сцене.

Один платит. Сказители северных земель были скупы на подробности, но здесь скупость страшнее любой живописи: он сам, своей рукой, вынимает собственный глаз. Не в бою, не в жертвенном иступлении, не под ножом врага — в тишине, у воды, добровольно и заранее. Заранее — вот слово, на котором стоит вся сцена. Плата отдана до глотка. Никто не наливает вперёд. Сначала глаз ложится в воду — потом рог касается губ.

Он пьёт. Что он увидел в этом глотке, миф не пересказывает — и правильно делает: то, что можно пересказать, не стоило бы глаза. Известно другое. Он разогнулся над водой другим. Тот, кто наклонился к колодцу, и тот, кто выпрямился, — не вполне одно лицо, и дело не в пустой глазнице. Мудрость не прибавилась к нему, как прибавляется кольцо к сокровищнице; она переплавилась его. Прежний Один — двуглазый, не знавший — кончился у этой воды. Пить пришёл один, от воды отошёл другой; первый заплатил, второй получил, и спросить, честна ли такая передача, уже некому.

Обратим внимание на интонацию рассказчиков — она красноречивее сюжета. Миф вообще-то умеет оплакивать увечья: слепота в древних сюжетах — кара, отнятая рука — позор, шрам — память о поражении. Здесь — ничего похожего. Ни одной ноты жалости, ни слова «увы», ни попытки утешить слушателя тем, что зато, мол, мудрость. Никакого «зато»: сама конструкция утешения отсутствует, потому что утешать не в чем. Пустую глазницу отца богов сказители произносят с той же гордостью, с какой перечисляют его победы, — как будто это и есть победа, только одержанная не над врагом, а над прежним собой. Одноглазость Одина — не изъян, который приходится терпеть за мудрость; она и есть лицо мудрости, её печать, её почерк. Люди, сложившие этот сюжет, явно считали, что рассказывают не о потере с компенсацией, а о входе, у которого просто такая дверь.

А глаз остался. Миф настаивает на этой подробности, и она стоит настойчивости: глаз Одина лежит на дне колодца Мимира — не растворился, не потух, лежит. Некоторые сказители добавляли: и смотрит. Цена не исчезает в момент платежа — она остаётся там, где была отдана, навсегда изъятая и навсегда сохранённая, как залог, который никогда не вернут. Отныне зрение отца богов разделено: одним глазом он смотрит на мир сверху, с престола, с высоты власти — а другой глядит на мир снизу, из тёмной воды, оттуда, где всё, что было, лежит осадком. Может быть, это и есть мудрость: смотреть с обеих сторон сразу. Но миф не объясняет. Миф показывает жест и умолкает.

Вглядимся в сам жест — он точнее любого толкования. Плата телесна: не обещание, не отречение на словах, не символ — кусок собственной плоти, часть лица, которым он был. Плата необратима: глаз не отрастёт, сделку не расторгнуть, вернуть глоток и получить глаз назад нельзя — время этой сцены течёт в одну сторону. Плата зряча: он знал цену до того, как согласился, видел её обоими глазами — последнее, что он видел обоими глазами, была цена. И плата — своя: он отдал не сына, не слугу, не завоёванное. Никого нельзя послать к колодцу вместо себя; вода узнаёт, чей глаз. У отца богов были тысячи воинов, каждый из которых с гордостью вырвал бы себе оба глаза по одному его слову, — и все эти глаза, сложенные горой у колодца, не купили бы ему ни капли. Чужая плоть в этой сцене не валюта. Миф словно проводит черту, которую позднее проведут все великие сюжеты о плате: заплатить можно только

собой, потому что меняется — только платящий. Тот, за кого заплатили другие, остаётся прежним; а прежнему у этой воды делать нечего.

И плата странно точна. Мимир мог назвать руку — рука дороже в бою. Мог назвать голос — чем бы стал повелитель поэзии без голоса? Но названо зрение — то самое, чем познают. Плати инструментом видения за то, чтобы видеть иначе. Как будто прежний способ смотреть и есть главное препятствие для нового; как будто нельзя увидеть глубину, пока цел взгляд, устроенный для поверхности. Тот глаз, что остался на дне, не просто отдан — он вычтен из прежнего зрения, чтобы освободить место иному. И тогда неясно, кто здесь чем пожертвовал: бог глазом ради мудрости — или мудрость взяла себе бога, оставив миру одноглазого, который уже никогда не сможет смотреть просто так, ни о чём не зная. Познание в этой сцене не только куплено. Оно ещё и берёт. И взятое не возвращает.

Вот что рассказывали у северных костров — не как притчу с моралью, а как сведение о том, из чего сделан мир. Мораль притчи можно оспорить. Сведение можно только проверить. Бог, у которого было всё, отдал часть себя за то, чего у него не было, — и рассказчики, ни разу не сбившись на жалость, называли это не увечьем, а обретением. Либо они ошибались все разом, наивные дети тёмных веков, — либо они видели в устройстве жизни нечто такое, что мы разучились называть прямо. Один жест, одна сцена, одна тёмная вода. Слишком мало, чтобы утверждать. Ровно столько, чтобы спросить.

1.2. Тот же жест повсюду

Скала на краю света, в горах, которые греки считали границей обитаемого. К ней прикован титан. Он украл у богов огонь — не для себя: себе он ничего не оставил — и отдал его людям, дрожавшим в темноте. Он знал, что будет. Прометей — само его имя значит «мыслящий прежде», знающий наперёд — видел цену до того, как протянул руку к огню: цепь, скалу, орла, который каждый день будет прилетать за его печенью, и печень, которая каждую ночь будет отрастать, чтобы завтра было чем платить. Он согласился заранее. Люди получили огонь; титан остался на скале — и греческий миф ни разу не называет его глупцом. Более того: из всех титанов, проигравших небо, миф сохранил в героях только его — того, кто заплатил не в бою, а по собственному согласию.

Ночь в северной Индии, дворец, где предусмотрено всё, чтобы наследник никогда не узнал, что такое боль. Молодой царевич, у которого — снова эта формула — есть всё: трон, ждущий его, богатство, не имеющее счёта, молодая жена, новорождённый сын. Он выходит из дворца в темноте, не попрощавшись, снимает царское платье, срезает волосы и уходит в лес — из имени, из наследства, из собственной биографии. Всё, чем он был, остаётся за воротами. То, чем он станет, ещё не существует, и никто не обещал ему, что оно наступит. Традиция, выросшая из этой ночи, назовёт его Пробуждённым — но в момент ухода он не пробуждённый, он никто: бывший царевич, добровольно раздевшийся до нуля.

Сад под Иерусалимом, ночь накануне. Тот, кто молится в этом саду, знает цену с точностью до часа — знает так ясно, что просит, чтобы чаша миновала его, и капли пота падают на землю, как кровь. Чаша не минует, и он знает, что не минует. И остаётся в саду. Не убегает, хотя до рассвета ещё есть время и дорога из сада открыта. Плата здесь — не глаз и не печень; плата — вся жизнь, отданная вперёд, до всякого воскресения, о котором в ночной темноте сада нет ни одного осязаемого свидетельства — только вера и решимость остаться.

И самый тёмный извод того же жеста: светоносный, первый из ангелов, стоявший ближе всех к престолу. Он отдаёт небо. Как ни рассказывай эту историю — гордыней, бунтом, отказом склониться, — её костяк тот же: было место в свете, и было нечто, чего в этом свете получить нельзя; он выбрал второе и заплатил первым. Падение длится, по слову поэтов, девять дней —

довольно времени, чтобы передумать, если бы передумать было можно. Но этот жест не знает обратного хода ни в одной из историй.

Титан на скале, царевич в лесу, молящийся в саду, ангел в падении. Четыре сюжета, которым не о чем было договариваться. Они даже не принадлежат одному жанру: трагедия, житие, евангелие, эпическая поэма — четыре разных способа рассказывать, четыре несовместимые поэтики. Жанр диктует сюжету почти всё — темп, развязку, мораль. Здесь он не смог продиктовать одного: скелета. Греческие пастухи, слагавшие рассказы о титанах, не читали индийских сутр — их разделяли горы, пустыни и века. Евангельская ночь записана людьми, никогда не слышавшими о царевиче из рода Шакьев. Предание о падшем ангеле выросло на почве, куда не доносился ни голос Эллады, ни голос Ганга. Ни общего языка, ни общей веры, ни торговых путей, по которым сюжет мог бы перебраться из одной колыбели в другую целиком, со всем своим устройством. И тем не менее устройство — одно.

Присмотримся к нему, потому что совпадает не «тема», совпадает конструкция, деталь к детали. Платят все — частью себя, а не имуществом: телом, именем, жизнью, местом в свете. Платят вперёд: цепь раньше благодарности людей, лес раньше пробуждения, сад раньше утра — плата в этих сюжетах всегда предшествует тому, ради чего она отдана, и отдаётся в темноте, когда исход ещё не наступил. Платят зряче: мыслящий прежде видел орла, царевич знал, что оставляет, молящийся знал час — никто из них не был обманут и не мог потом сказать, что не понимал, что подписывает. Это стоит отдельного удивления: мировой сюжет обожает обманутых — героев, подписавших не глядя, продешевивших, не расслышавших условие; обман — двигатель половины всех историй. Но в этих четырёх обмана нет, и это не может быть случайной скупостью рассказчиков: там, где платят собой, обман, видимо, невозможен по устройству — такой платы не возьмёшь с неведающего. И платят без обратного хода: печень отращает лишь затем, чтобы её снова взяли, волосы царевича срезаны, чаша выпита, небо закрыто. Четыре раза подряд, в четырёх несмежных мирах, — одна и та же грамматика.

Одна история — это история. Одна и та же история, рассказанная всюду, — это уже показание. Когда мореходы разных народов, не встречаясь, наносят на карты один и тот же берег, никто не говорит о совпадении вкусов — говорят, что берег существует. Чем меньше у свидетелей возможность сговориться, тем больше весит их согласие; здесь возможность сговора равна нулю, а согласие — полное. Традиции, разделённые всем, чем можно разделить людей, нанесли на свои карты один берег: новое состояние — мудрость, пробуждение, спасение, самостояние — не выдаётся поверх прежней жизни, как награда поверх заслуг. Оно требует, чтобы от прежней жизни было отнято, и отнято не символически. Рассказчики расходились во всём — в богах, в устройстве неба, в том, что считать спасением. В одном они не разошлись ни разу: даром это не даётся.

Можно, конечно, предположить заимствование — сюжеты странствуют, это известно. Но посмотрим, как выглядит настоящее заимствование, — оно оставляет следы, и следы характерные. Странствующий сюжет несёт с собой украшения: имена героев, искажаясь, остаются узнаваемыми; чудеса повторяются в подробностях; сохраняются числа, маршруты, реквизит. История о великом потопе, кочуя между народами, всюду тащит за собой ковчег, спасённую семью и птицу, посланную искать сушу, — меняются имена, скорлупа остаётся. Здесь всё наоборот: совпадает несущая конструкция при полном несовпадении украшений. Ни одно имя не перекликается с другим, ни одна подробность не повторена — ни орла у царевича, ни срезанных волос у титана, ни чаши у ангела. Так не заимствуют — так наблюдают. Независимые свидетели, не сговариваясь, описывают событие одними и теми же структурными чертами именно тогда, когда событие было на самом деле. Похоже, все они смотрели не друг на друга, а на одно и то же — на что-то в самом устройстве перемены, что открывалось всякому, кто вглядывался в неё достаточно долго. Они не оставили формулы. Формул у них не было — у них были сюжеты, и сюжетами они сказали то, что видели: у всякого превращения есть вход, и у входа берут.

Паттерн уже нельзя не замечать. Он проступил, как проступает водяной знак, если поднести лист к свету: жест Одина оказался не северной причудой, а местным начертанием чего-то повсеместного. Колодец под корнем — лишь одно из мест, где человечество записало то, что видело везде. И у этого повсеместного жеста, каким он предстал в четырёх сюжетах, есть одна общая черта, до того естественная, что глаз скользит по ней, не задерживаясь. Все четверо платили сейчас. Никто из них не попросил отсрочки; никому из них не пришло в голову — и, кажется, никому из рассказчиков — что порядок можно перевернуть: сначала огонь, потом печень; сначала пробуждение, потом уход. Плата вперёд стоит в этих сюжетах как закон природы, который не обсуждают, — а между тем это не закон природы, это выбор, и выбор из двух. У всякой черты — две стороны. Древние рассказчики, столь единодушные во всём остальном, поставили своих героев только на одну из них.

1.3. Второй у стола

Другая ночь, другой север. Узкая комната под готическим сводом, в городе, где улицы тесны, как книжные полки. Город спит; спит так крепко, как спят только города, уверенные, что всё важное уже написано. Не спит одно окно. Здесь нет ни древа, ни воды — здесь бумага: книги от пола до потолка, свитки, колбы с застывшими растворами, череп на краю стола, пыль, которую никто не тревожил годами, потому что хозяину комнаты давно не нужно искать — он помнит наизусть всё, что здесь написано. Воздух в комнате неподвижен и сух, как между страницами; кажется, его тоже прочли до конца. Свеча горит одна, и от неё по стене ходит длинная тень человека, сидящего за столом.

Про человека достаточно знать немного. Он учён так, как только можно быть учёным: прошёл все науки своего времени до конца, до дна, до последней страницы — и на последней странице обнаружил стену. Всё, что можно вычитать, он вычитал; всё, что можно вывести, вывел. А то, ради чего он читал и выводил, — само знание, живое, то, которое держит мир изнутри, — так и не далось. Книги оказались тем же, чем была для Одина власть: распоряжением видимым. Они пересказывают мир, но не впускают в него; между пересказом и знанием — та же пропасть, что между картой колодца и глотком. Стоит отдать должное этой фигуре: его жажда — не карикатура. Это та же самая жажда, что вела бога к тёмной воде. Он тоже хочет не богатства и не власти самих по себе — он хочет знать, и хочет так, что готов на всё. В этой комнате сидит не мелкий честолюбец. В этой комнате сидит человек у того же порога.

Но дальше сходство кончается, и начинается зеркало.

К воде нужно было спускаться — долго, вниз, к изнанке мира. Сюда никто не спускается: гость приходит сам. Стучать ему не нужно; в такие комнаты, к людям в таком чаше их жизни, вход для него всегда открыт. Он появляется вежливым, остроумным, почти обаятельным — и деловитым. Никакой серы, никаких театральных теней: у него вид посредника, который рад наконец предложить давно заждавшемуся клиенту именно то, чего тот хочет. Он не искушает — в грубом смысле слова ему нечего делать: жажда, на которую он пришёл, выросла в этой комнате сама, задолго до него, без всякой его помощи. Он лишь приносит к готовой жажде удобную посуду. Это первое отличие, и его стоит запомнить: Один искал свой колодец — этого человека нашли. Мудрость никого не разыскивает по ночным кабинетам; у неё нет посредников и нет доставки на дом. У того, что приходит само, посредники есть всегда.

Условия оглашаются быстро, и они великолепны. Всё — сейчас. Знание, которое не давалось, — сейчас. Молодость, уже истраченная на книги, — возвращена, сейчас. Мир, лежавший за стенами кабинета непрочитанным, — открыт, сейчас. Всё, о чём просилось и не просилось, — немедленно, полной мерой, без испытательного срока. А плата... плата тоже названа, гость не мошенник и ничего не прячет: названа полностью, вслух, самая высокая из возможных — душа, то есть весь человек целиком, без остатка. Но — потом. В конце. В час, который

отсюда, из ночного кабинета, не виден вовсе: где-то за горизонтом лет, за всеми удовольствиями и открытиями, в дали настолько туманной, что назвать её сроком язык не поворачивается. Попробуйте из ночной комнаты, при одной свече, разглядеть конец собственной жизни — глаз не достаёт; там, куда он не достаёт, всё кажется одинаково лёгким. Цена огромна — и неведома. Она вся помещается в одно слово «потом», а «потом» не весит ничего. Гость не лгал ни в одной букве — он только позволил расстоянию сделать свою работу.

Требуется подпись. И вот здесь зеркало договаривает своё. Там, у воды, платили глазом — сейчас, из глазницы, по-настоящему. Здесь тоже прольётся кровь, но — капля. Одна капля из уколотого пальца, чтобы было чем расписаться. Кровь — древнейшая валюта платы собой; сцена в кабинете сохраняет валюту и меняет сумму: от целого тела — до чернил. Ритуал платы сохранён — сама плата отложена; тело отдаёт ровно столько, сколько нужно для росчерка, остальное запишут на будущее. Боль в момент подписи так мала, что её можно не заметить. В этом вся конструкция: у воды цена входила в тело в тот же миг, что и мудрость, — здесь получение и плата расщеплены и разведены по разным концам жизни, и на ближнем конце оказалось всё приобретаемое, а на дальнем — всё отдаваемое.

Он подписывает. Свеча вздрагивает, тень на стене на мгновение ломается — и распрямляется уже другой: моложе, легче, свободнее. Комната ему больше не нужна; мир открыт; впереди — всё.

Здесь мы отводим взгляд. Что было дальше — как он жил, чем насытился и чем не смог, что понял и когда, чем кончилось, — не наше сегодняшнее дело, и рассказывать это сейчас значило бы соврать в главном: в ночь подписи никакого «дальше» ещё нет. Есть кабинет, погасшая свеча и человек, выходящий в мир с полными руками. Мы оставляем его тем, чем он и был в этой сцене, — тенью на стене, силуэтом второй возможности. Не персонажем, о котором рассказывают историю, а положением, которое можно занять.

Теперь поставим их рядом — и помолчим.

Один стоит у колодца. Фауст сидит за столом. Оба пришли к пределу того, что можно узнать, оставаясь прежним; обоих привела туда одна и та же жажда. Обоим названа цена — полностью, честно: в обеих сценах платящий знает, что подписывает. И оба согласились. На этом общее кончается, и между двумя фигурами остаётся одно-единственное различие — такое простое, что его можно продиктовать по слогам, и такое глубокое, что на его разглядывание уйдёт вся книга.

Когда.

Один платит до. Фауст заплатит после. Один отдаёт глаз — и лишь затем подносит рог к губам; в его сцене сначала темнеет, потом проясняется. Фауст сначала получает всё — и уходит в это всё, унося цену с собой, как незаполненную страницу в конце подписанной книги; в его сцене сначала светло, а темнеть будет когда-нибудь. У одного плата и обретение сомкнуты в одном мгновении, как две створки; у другого между ними вставлена целая жизнь. Один выпрямляется от воды одноглазым и мудрым — убыль и прибыль в нём уже встретились, и всякий, кто взглянет на его лицо, увидит обе. Фауст выпрямляется от стола молодым и целым: в нём прибыль уже поселилась, а убыль ещё в пути, и по его лицу не прочтёшь ничего — лицо человека, которому только что всё дали и ничего пока не взяли, неотличимо от лица счастливого. Даже свидетель различил бы эти две сцены с трудом: и там и там — жажда, названная цена, согласие. Разошлись они в единственной точке, которую глаз почти не регистрирует, — в порядке слов «отдал» и «получил».

Вот они, двое, — по обе стороны той черты, которую четыре сюжета проходили только в одну сторону. Оценки здесь не будет — не потому, что её нет, а потому, что выносить её сейчас было бы нечестно: у нас пока есть только две сцены, два жеста, две тени — у воды и на стене. Пусть стоят как стоят. Смотреть на них — уже работа: чем дольше держишь их рядом, тем яснее чувствуешь, что различие между ними не сводится к бухгалтерской перестановке слага-

емых, что «до» и «после» здесь — не два расписания, а два разных отношения с реальностью. Но чувство — не знание; у этой воды мы уже выучили, что за знание берут.

Две фигуры. Одна жажда. Один вопрос, повисший между ними в молчании: что меняется, когда меняется только «когда»?

1.4. Тезис и обещание

Сцены сделали своё дело; дальше им нужны слова. Образ умеет заражать, но не умеет отвечать за себя: с него не спросишь, он всегда может отступить в «это только миф». Двусмысленность — его среда и его право. Но книга, которая намерена спрашивать всерьёз, обязана в какой-то момент выйти из-под защиты образов и сказать прямо, что она утверждает, — так, чтобы утверждение можно было проверять, ловить на слове, опровергать. Этот момент настал. Вот утверждение.

Новое состояние не возникает без разрушения предыдущего. Трансформация требует платы.

Теперь медленно, слово за словом, потому что в этой фразе каждое слово нагружено. Новое состояние — не новое приобретение. Речь не о том, что к имеющемуся прибавляется ещё одно: ещё знание, ещё сила, ещё вещь. Прибавление не требует ничего, кроме места на полке. Речь о превращении — о переходе, после которого носитель состояния уже не тот, кем был: одноглазый мудрец не есть двухглазый невежда плюс мудрость; это другой, из которого прежнего не извлечь обратно. Различие можно потрогать на самом будничном опыте. Взгляните на строку незнакомого алфавита: вы видите узор, орнамент, вязь — и можете разглядывать её как рисунок. Взгляните на строку родного: вы уже прочли её, раньше, чем решили читать. Разглядывать буквы как узор вы больше не можете — грамотность не прибавилась к прежнему зрению, она заняла его место. Человек, научившийся читать, заплатил способом видеть, которого ему никогда не вернут, и никто не спросил его согласия на эту часть сделки. Там, где можно просто добавить, наш тезис молчит. Он говорит только там, где, чтобы стать, нужно перестать быть.

Разрушение предыдущего — не декорация и не драматический перегиб. Тезис утверждает, что это условие: связь не сюжетная, а несущая. Глаз в колодце — не живописная подробность, придуманная для остроты, а то, без чего глотка не бывает; уберите из любой сцены её плату — и сцена не станет милосерднее, она станет невозможной, как не бывает входа без проёма в стене. Прежнее состояние занимает то самое место, куда должно встать новое; оно не соседствует с новым, а конкурирует с ним за одного носителя — и потому должно быть не потеснено, а демонтировано. Целиком или той частью, которая держала всю постройку.

И — платы, а не кары. Это, может быть, самое важное слово в тезисе, потому что здесь проходит граница между тем, что мы утверждаем, и тем, что нам могут приписать. Кара предполагает судью, вину и приговор; в наших сценах нет ни того, ни другого, ни третьего. Мимир не наказывал Одина, лес не наказывал царевича — с них взяли, как берут у входа, а не как взыскивают по суду. Но плата — и не подвиг: тезис не приглашает восхищаться платящим, как не восхищаются человеком, отдавшим монету за хлеб. Цена в этих сюжетах морально нейтральна, как нейтрален закон рычага: она не выражает ничьего гнева и ничьей воли, не требует ни сострадания, ни аплодисментов — она просто есть. Кто слышит в слове «плата» обвинение, возмездие или призыв — слышит не нас. Мы описываем устройство двери, а не проповедуем входить.

Таково утверждение. Оно сформулировано, оно стоит на столе, и с этой страницы книга связана им, как подписью. Но у всякого честного утверждения есть вторая обязанность: сказать, чем оно рискует, — то есть где и как его можно проверить. Утверждение, которое ничем не рискует, ничего и не стоит; непроверяемое всегда подозрительно дёшево. Наш тезис сфор-

мулирован так, чтобы стоить дорого: он говорит «не возникает без» — то есть достаточно одного настоящего исключения, одного нового состояния, честно возникшего без разрушения прежнего, чтобы «закон» разжаловать в «частый случай». Мы сознательно оставили ему эту уязвимость — броня из оговорок сделала бы его непроверяемым, а значит, пустым. Пока за тезисом стоят только рассказы. Пять сюжетов, пусть независимых, пусть единодушных, — всё же рассказы: люди могли тысячелетиями сходиться в общей ошибке, в утешительной или устрашающей выдумке, которую каждая культура изобретала заново, потому что заново нуждалась в ней. Согласие свидетелей — довод, но не приговор. Если то, что они видели, — действительно устройство мира, а не устройство человеческой надежды, оно обязано обнаруживаться и там, куда надежда не дотягивается: в веществе, которое не рассказывает историй; в живом, которое не знает, что оно сюжет; в душе, взятой не мифом, а вблизи; в самом обыкновенном выборе самого обыкновенного дня. Туда мы и пойдём — не за иллюстрациями, а за показаниями: у каждого из этих миров спросим одно и то же и запишем ответ, каким он окажется.

Это — первое обещание: проверить сам закон. Обещание очевидное; любой добросовестный разговор начался бы с него. Но мы дадим и второе — то, которого давать никто не обязан: большинство разговоров о цене перемены обходится без него, даже не заметив пропуска. Пропуск этот не случаен: вторая половина вопроса кажется входящей в комплект первой, как эхо входит в комплект крика. Именно поэтому её и нужно выговорить отдельно, полным голосом, пока она не растворилась в очевидности.

Присмотримся ещё раз к тому, что, собственно, утверждают наши сцены. В каждой из них — два утверждения, сросшиеся так плотно, что кажутся одним. Первое: у входа берут. Второе: уплатившего — впускают. Отдал глаз — получил мудрость; ушёл из дворца — пробудился; взошёл — искупил. Плата и обретение соединены в этих сюжетах намертво, и слушатель проглатывает их одним глотком: раз берут — значит, дают. Сама грамматика сюжета сваривает эти половины: рассказ движется от платы к обретению, как фраза от подлежащего к сказуемому, и усомниться во второй половине так же трудно, как оборвать фразу на середине. Но это два разных утверждения, и логической связи между ними не больше, чем между «в эту дверь входят, пригнувшись» и «за этой дверью что-то есть». Первое говорит о цене. Второе — о том, что цена что-то покупает; что между платой и обретением есть связь, на которую можно опереться; что тот, кто отдал, — получит. Первое можно проверить, наблюдая, берут ли. Второе так просто не проверишь: для этого нужно смотреть не на тех, кто заплатил и вошёл, — про них сюжеты и сложены, — а на всю очередь у входа целиком.

Поэтому обещание будет двойным, и мы записываем его в полной форме, чтобы потом на неё можно было сослаться. Книга обязуется проверить, во-первых, сам закон: правда ли, что новое состояние не возникает без разрушения предыдущего — везде, а не только в рассказах. И во-вторых — его гарантию: действительно ли тот, кто платит, получает. Обе проверки будут честными, то есть такими, исход которых не подогнан заранее. Здесь мы не знаем — вернее, не говорим — чем они кончатся; книга, которая намекнула бы на ответ до проверки, была бы не проверкой, а инсценировкой. Читателю обещано одно: ни одна из двух половин не будет забыта по дороге и ни одна не будет проверена вполсилы. Если закон устоит — мы скажем это. Если где-то он поддастся — скажем и это, теми же словами, тем же голосом.

Такой договор заключается на первой главе или не заключается вовсе. Мы его заключили. Заметим напоследок, что он несимметричен: книга взяла на себя обязательства, читатель — никаких. Ему не нужно заранее верить тезису; недоверчивый читатель для предстоящей проверки даже ценнее — свидетель, которого не удалось подкупить сценами, весит больше. Всё, что от него требуется, — держать обе половины обещания в памяти и не позволять книге забыть ни одну. Договор такой строгости обязывает и к строгости слов: в нём не должно остаться ни одного понятия, взятого на веру, — включая то короткое слово, которым мы до

сих пор пользовались так свободно, будто оно прозрачно. Оно не прозрачно. Проверка начнётся с наведения порядка в собственном словаре — так поступает всякий, кто намерен считать честно.

Один давно ушёл от колодца; мудрость при нём, вороны разносят её по мирам. А глаз остался. Он лежит на дне, изъятый и сохранённый, — плата, которая пережила платёж, — и смотрит вверх, сквозь тёмную воду, на всякого, кто наклонится над ней. Теперь над колодцем наклонились мы. Мы утверждаем: этот глаз — не украшение мифа, а его точнейшее слово; так платят за всякое превращение, всегда и везде. И мы обещали проверить сказанное дважды — сам закон и его гарантию: берут ли у входа и впускают ли уплатившего. Обещание дано, исхода не знает никто, и глаз на дне не подскажет его — он только смотрит. Цена всегда остаётся в вопросе дольше всех.

Глава 2. Что именно мы утверждаем

Слово «жертва» — одно из самых старых в языке и одно из самых неопрятных. Мы произносим его как одно слово, а работает оно как пять. Жертвой называют солдата, не вернувшегося с войны, и час сна, отданный ребёнку; называют сожжённые за диссертацию годы и деньги, которых не увидит тот, кто выбрал честность; называют фёрзя, отданного за атаку, и мелочь, брошенную нищему. Пока эти пять живут под одним именем, любой разговор о цене обречён на подмену: собеседники думают, что говорят об одном, а говорят о разном, и спор о том, «стоит ли оно того», рассыпается раньше, чем успевает начаться.

Развести пять смыслов по словарной статье было бы просто — и бесполезно. Определения не держатся в руках; держится только то, что примерено к живому решению. Поэтому вместо словаря — один человек перед одним выбором, и пять стёкол, через которые мы будем смотреть на него по очереди. Один предмет — пять линз; и под каждой он будет выглядеть иначе. А право на старое страшное имя останется лишь у одной из пяти — и именно о ней вся эта книга.

2.1. Ситуация

Закон, оставленный в мифе, ничего не стоит. Пока плата — жест бога, совершённый в начале времён, с ней легко соглашаться: она красива, она далеко, она не про нас. Миф не оказывает сопротивления: в нём нет мелочей, о которые спотыкается всякая настоящая цена, — нет счетов за квартиру, нет чужих ожиданий, нет усталости в четверг вечером, нет вопроса «а на что мы будем жить». Бог отдаёт часть себя одним жестом, между двумя строками, и строки смыкаются. Человеческое решение так не работает: оно тянется месяцами, оно торгуется, откладывается, обрастает оговорками и репетициями разговора с женой. Проверить утверждение можно только на материале, который сопротивляется, — на человеке, у которого есть ипотека, усталость, спина, стаж и страх. Мифу мы верим глазами; человеку придётся поверить собственной кожей, потому что он слишком похож на нас, чтобы отделаться восхищением.

Поэтому прежде инструмента — материал. Ему не нужно имя: имя превратило бы его в персонажа, а персонажу мы умеем не верить. Ему не нужна биография: биография сделала бы его случаем, единичным и потому необязательным. Нужно одно — решение, которое читатель узнает раньше, чем дочитает абзац. Назовём его X — не как икс в уравнении, а как крест на карте: здесь копать.

Вот он. Ему сорок три года, и двадцать из них он отдал профессии, в которой состоялся. Он юрист в крупной фирме — из тех, кому звонят, когда дело уже никто не берёт. У него кабинет с окном на реку, у него репутация, которую не купить и не подделать, у него годовой доход, о котором он не говорит вслух, и очередь клиентов на три месяца вперёд. Ещё у него подрастающая дочь, оставшиеся четырнадцать лет ипотеки и должность, до которой оставалось дослужиться совсем немного: партнёрство обещано, обсуждено, почти подписано. По всем меркам, которыми меряет его среда, он не просто состоялся — он выиграл.

И вот уже третий год он ловит себя на одном и том же. Лучшие его часы — не в суде и не на переговорах, а в тех редких случаях, когда фирма посылает его читать лекции стажёрам. Он выходит из аудитории физически другим человеком: спина прямее, голос ниже, в голове тихо. Он начал замечать, что готовится к этим лекциям по ночам, добровольно, с азартом, которого давно не чувствует к делам, приносящим ему настоящие деньги, — и что помнит по именам стажёров, которых видел дважды, забывая клиентов, с которыми работал годами. Полгода назад знакомый декан, полушутя, предложил ему место преподавателя — с зарплатой, составляющей примерно шестую часть его нынешней. Он посмеялся. Потом неделю не спал.

Теперь это уже не шутка, а решение, которое он носит в себе, как носят диагноз до того, как сказать семье. Уйти — значит выйти из партнёрской гонки за полшага до цели, разменять кабинет с рекой на кафедру с мелом, объяснить жене, почему их жизнь станет скромнее, а дочери — почему отец, которого все называли успешным, вдруг перестал им быть. Остаться — значит продолжить выигрывать в игре, к которой он теряет вкус с каждым сезоном, и читать лекции по остаточному принципу, пока не станет поздно и для них. Он стоит на этой развилке сейчас, пока мы говорим. Решение не принято.

Оговоримся сразу, что мы не будем с ним делать. Мы не будем ему советовать: эта книга — не о том, как поступить Х, и вообще не о том, как поступать. Мы не будем его судить: ни версия «зажрался, люди о такой работе мечтают», ни версия «наконец-то услышал себя» нас не интересуют — обе они готовые, а готовое не инструмент, а мебель. Первая версия отменяет вопрос, объявив его блажью; вторая отменяет цену, объявив её освобождением; обе избавляют от необходимости считать — а мы собрались именно считать. И мы не будем заглядывать в его будущее: чем кончилась история Х, читатель не узнает, потому что для нашей задачи исход не имеет значения. Нас интересует не то, что с ним будет, а то, что с ним уже происходит — в самой точке выбора, до всякого результата. Всё, что мы хотим рассмотреть, целиком находится здесь, на входе: пять видов платы видны до того, как станет известно, окупятся ли они, — и видны только отсюда, потому что задним числом их заслонит исход.

Потому что именно в этой точке и живёт то, что глава 1 назвала законом. Заплатить частью себя за то, чего иначе не получить, — формула звучала величественно, пока речь шла о богах. Теперь посмотрим, как она звучит, когда речь идёт о человеке с ипотекой. Чем именно он платит? Слово «всем» не годится: «всем» — это способ не считать. Деньгами? Да, но деньги — самая простая и самая обратимая из его потерь. Статусом? Тоже да, но статус — ещё не сердцевина. Двадцатью годами, вложенными в профессию, которая станет прошлым? Жизнями, которые он мог бы прожить и теперь не проживёт? Тем человеком, которым он был все эти годы и которым перестанет быть? Всё это — разные платежи, в разных валютах, по разным правилам, и пока мы сваливаем их в одно слово «жертва», мы не понимаем ни его ситуации, ни своей.

Легко увидеть, как эта слепота работает в чужих спорах. Жена говорит мужу: «я пожертвовала ради тебя карьерой» — и имеет в виду похороненную ветвь, жизнь, которая не случилась; муж слышит упрек в растрате, будто он взял и не вернул, и отвечает встречным счётом: «а я двадцать лет ношу на себе эту семью». Оба произносят одно слово, оба говорят о разном, и потому оба правы и оба не слышат ничего. Начальник называет жертвой переработки, за которые платит премией; подчинённый — здоровье, которое не вернёт никакая премия. Одно слово покрывает и то, что возместимо, и то, что возмездно в принципе, — и покрывает так плотно, что разница исчезает из виду именно тогда, когда она важнее всего. Спор о том, «стоит ли оно того», невозможно выиграть и невозможно даже вести, пока не договорились, что такое «оно»: убыль, обмен, несовместимость, превращение или несбывшееся.

Х удобен для нашей задачи тем, что его решение — не катастрофа и не подвиг. Никто не умирает, никто не спасает мир; это выбор из разряда тех, что случаются на любой лестничной клетке. Но приложите к нему ухо — и вы услышите в нём все пять механизмов сразу, работающих одновременно и вперемешку, как пять инструментов, играющих без дирижёра. В его решении есть то, что просто расходуется; то, что расходуется безвозвратно; то, что не совмещается ни при каком усердии; то, что должно быть разрушено, чтобы новое стало возможным; и то, что тихо перестаёт быть возможным, пока он медлит. Наша работа теперь — развести эти голоса. Мы будем прикладывать к одной и той же ситуации пять разных стёкол, и под каждым она будет выглядеть иначе: то как баланс, то как утечка, то как несовместимость, то как порог, то как кладбище несбывшегося.

Читателю предлагается при этом держать в уме собственный крест на собственной карте. У каждого есть свой X — решение принятое, отложенное или зреющее: переезд, на который не хватает духа; отношения, которые давно пора кончить или давно пора начать; ремесло, к которому тянет из-под надёжной профессии, как траву тянет из-под асфальта. Подставлять его под те же стёкла не обязательно, но соблазн возникнет сам, и сопротивляться ему не стоит. Инструмент, который нельзя обратить на себя, — не инструмент, а экспонат.

Материал положен на стол. Начнём с самого жёсткого и самого простого стекла — с того, которое не знает исключений даже в сказках и которое отвечает на первый вопрос счёта: может ли X получить больше, чем внесёт.

2.2. Сохранение

Первое стекло — самое старое и самое неумолимое. Его логика уместается в одну строку: итог не бывает больше вложенного. Ничто не возникает из ничего; всё, что появилось здесь, было взято там. Человечество открывало эту истину много раз и в разных местах — крестьянин на своём поле, купец над своей книгой, мать над своим временем, — и всякий раз она оказывалась той же самой, как будто под всеми занятиями лежит одно общее дно. Мы знаем эту логику по самым разным одеждам — от бабушкиного «без труда не вытащишь» до строгих балансов, где приход обязан сойтись с расходом, — но одежда не должна обманывать: перед нами не мораль и не поговорка, а арифметика. Мораль можно оспорить, к поговорке можно подобрать исключение; к балансу исключений не подбирают. Баланс не награждает и не наказывает — он просто не выдаёт сверх внесённого, кому бы ни принадлежал счёт и как бы искренне владелец ни хотел большего.

Приложим это стекло к X — и первым делом оно покажет не то, что он потеряет, а то, чего он не получит. Мечта, которая три года зреет в нём, имеет свойство всех мечт: она рисует итог, пропуская вклад. В мечте он уже стоит у доски — свободный, точный, любимый аудиторией, тот самый преподаватель, из-за которого меняют специальность. Мечта выдала ему готовый результат авансом, и в этом её сладость. Стекло сохранения снимает аванс одним движением: преподавательское мастерство будет ровно таким, каким его сделают вложенные часы — сотни часов подготовки, десятки провальных лекций, годы медленной настройки голоса, темпа, слуха на аудиторию. Первую свою настоящую лекцию — не гостевую, перед благодарными стажёрами, а рядовую, восьмую пару у второго курса, которому всё равно, — он провалит; и вторую, вероятно, тоже. Двадцать лет в юриспруденции дали ему знание предмета, но знание предмета и умение его передать — разные капиталы, и второй счёт у него пока почти пуст. Оттуда, где не лежит, взять нельзя. Если он уйдёт с расчётом, что мастерство «приложится» — потому что он умный, взрослый и состоявшийся, — баланс вернёт ему ровно то, что он внесёт: то есть, на первых порах, очень немного.

То же — с положением в новой среде. В фирме его слово весит столько, сколько весит, потому что за словом — двадцать лет выигранных дел, ночей над документами, удержанных клиентов и не подведённых партнёров. Этот вес нельзя перенести через улицу, как мебель: в университете его счёт репутации открывается с нуля, и пополняться будет тем же способом, каким пополнялся прежний, — вкладом, год за годом. Уважение коллег, доверие студентов, право на собственное мнение о том, как надо учить, — всё это будет выдано в объёме внесённого и ни центом больше. Стекло сохранения беспощадно к слову «заслужил» в прошедшем времени: заслуженное там не конвертируется в причитающееся здесь. Каждый счёт ведётся отдельно, и новый начинается пустым.

Но у этого же стекла есть и другая сторона, и она для X едва ли не важнее. Повернём его на то, что он собирается покинуть. Кабинет с окном на реку, очередь клиентов, почти подписанное партнёрство — всё это тоже не подарок судьбы, а выданный баланс: ровно внесённое,

двадцать лет, конвертированные в положение. И значит, его нынешняя жизнь — не то, что «у него есть», а то, что он непрерывно оплачивал и продолжает оплачивать: теми же ночами, тем же напряжением, теми же часами, которых не видит дочь. Больше того: вариант «остаться» под этим стеклом тоже перестаёт выглядеть покоем. Партнёрство — не пенсия, а повышение взноса: своя клиентская книга, ответственность за чужие ошибки, представительские вечера, из которых нельзя уйти раньше времени. Остаться — не значит перестать платить; это значит платить больше по прежнему счёту. Сохранение отучает от иллюзии, будто существует точка, где вклад уже сделан и дальше можно только получать. Такой точки нет ни в одной из двух его жизней — ни в той, что он покидает, ни в той, куда собирается. Обе выдают ровно столько, сколько в них вносится, и обе перестают выдавать, когда вносить перестают. Выбор, который мечта рисовала как выбор между «тяжело» и «легко», под первым стеклом оказывается выбором между двумя разными вкладами — а не между вкладом и его отсутствием.

Отсюда — первый практический смысл линзы. Вопрос «стоит ли оно того» невозможно даже поставить, пока не составлена опись вклада. Не эмоциональная («придётся многим пожертвовать»), а балансовая: какие именно часы, какие именно годы, какие именно усилия должны быть внесены, чтобы итог состоялся, — и есть ли они у вносящего. Для X такая опись выглядит отрезвляюще конкретно: два-три года, прежде чем лекции перестанут быть переработанными конспектами чужих курсов; часы проверки студенческих работ, которых в мечте не было вовсе; методические планы, заседания кафедры, вторая работа консультанта — потому что на шестую часть дохода ипотека не согласится. У X есть привычка к такому счёту: он юрист, он двадцать лет проверял чужие договоры на предмет того, что сторона обещает и чем обеспечено обещание. Стекло сохранения предлагает ему проделать с собственной мечтой то, что он тысячу раз проделывал с чужими контрактами: найти в ней все места, где итог записан, а вклад — нет, и понять, что каждое такое место — не подарок, а дыра. Мечта, прошедшая такую проверку, становится беднее и тише. Она же становится впервые похожей на план.

Из пяти логик сохранение — самая наглядная, и потому именно её чаще всего принимают за весь закон. «За всё надо платить» в устах большинства означает ровно это: не получишь больше, чем вложил. Мысль верная — и опасно неполная. Кто остановился на первом стекле, тот видит в любой цене простой обмен, внёс — получил, и не видит ни того, что часть платы никогда не возвращается, ни того, что некоторые платежи вообще не про количество. Первая линза — необходимая, но если она остаётся единственной, слово «жертва» снова склеивается в один ком, только теперь с арифметическим оправданием. Держать её надо как первую из пяти — не как итог, а как нижний, самый грубый слой счёта.

Заметим, что первое стекло ничего не говорит о том, надо ли X уходить. Оно вообще не про «надо» — оно про потолок. Оно сообщает единственную вещь: сверх внесённого не будет, где бы он ни оказался и как бы ни было чисто его намерение. Чистота намерения — вообще не валюта в этой бухгалтерии; вносятся часы, силы и годы, а не искренность. Это знание кажется холодным, но у него есть неожиданно утешительное следствие: раз итог привязан ко вкладу, то итог достижим — не заказан свыше, не заперт талантом, не разыгрывается втёмную. Внёс — получил потолок внесённого. В мире первого стекла нет несправедливости, есть только недовложенное. Оттого этот мир по-своему уютен, и многие живут в нём всю жизнь, меряя его меркой всё подряд — карьеру, брак, детей, самих себя. Он честен, как честны весы: что положил, то и показали. Он же и тесен — но чтобы увидеть, чем именно, понадобятся остальные четыре стекла.

И всё же, живя с этим стеклом, быстро замечаешь: оно говорит правду, но не всю. «Не больше вложенного» — верхняя граница, потолок; о том, что происходит с самим вложенным, стекло молчит. А с ним происходит вот что: часть его до итога не доходит вовсе. Из сотен часов, которые X внесёт в новое ремесло, какая-то доля уйдёт не в мастерство, а в никуда.

Баланс сойдётся, но не весь вклад станет итогом: что-то рассеется по дороге и не вернётся ни при каком исходе. Первое стекло ставило потолок; второе покажет утечку.

2.3. Затрата

Второе стекло смотрит не на итог, а на дорогу к нему, и видит то, чего не видело первое. Первое обещало потолок: больше вложенного не будет. Второе добавляет поправку, от которой счёт становится по-настоящему взрослым: и вложенное не дойдёт целиком. Всякий процесс берёт себе долю — не в награду итогу, а просто за то, что он процесс. Часть угля греет не дом, а улицу; часть усилий уходит не в дело, а в трение о дело. Эта доля не хранится нигде, не ждёт возврата, не зачисляется ни на чей счёт — она рассеивается. И рассеянное не возвращается ни при каком исходе: ни при победе, ни при поражении, ни при отмене всей затеи.

Чтобы стекло работало, нужно первое различие — возвратного и невозвратного. Не всякая плата — рассеяние. Деньги, которые Х потеряет, уйдя на преподавательскую зарплату, — плата возвратная: деньги той же природы можно заработать снова, счёт восстановим, пусть и трудом. Даже репутация возвратна — медленно, мучительно, но её можно отстроить заново, как показало первое стекло. А вот годы, в течение которых он будет её отстраивать, невозвратны абсолютно: не существует способа прожить сорок четвёртый год жизни дважды. Время — чистейшая из невозвратных валют, но не единственная. Невозвратны силы определённого возраста: выносливость, с которой он в двадцать пять сидел ночами над делами, не вернётся к нему ни за какие деньги, и всё новое ему предстоит поднимать силами сорокалетнего. Невозвратно внимание, отданное одному вместо другого: вечера, в которые дочь была рядом и ждала, а он готовил чужую сделку, — рассеяны, и никакие будущие вечера не станут теми. Невозвратны, наконец, версии его самого: человек, которым он был в тридцать, со всеми открытиями тогда возможностями, истрачен на то, чтобы получился нынешний, — и этот платёж не обсуждался и не подписывался, он просто произошёл. Тридцатилетний Х мог стать многим; сороклетний стал одним из этого многого, и стоимость превращения — все остальные, которых больше нет в наличии. Мы редко замечаем эту статью расхода, потому что платим по ней непрерывно и мелкими взносами: каждый прожитый день незаметно списывает какую-то долю того, кем ещё можно было быть. Заметной она становится только в точках вроде той, где стоит Х, — когда человек оборачивается и обнаруживает, что заплачено уже очень много, а квитанций никто не выдавал.

Легко увидеть, чем это стекло отличается от первого, — и почему их постоянно склеивают. Сохранение говорило о соответствии: итог не превысит вклада. Затрата говорит о безвозвратности: часть вклада не станет итогом никогда. В бытовой речи обе мысли живут под одной крышей «за всё надо платить», и оттого человек, готовый к первому, бывает раздавлен вторым: он согласился внести — но тайне ждал, что внесённое хотя бы целиком пойдёт в дело, что честный вклад не пропадает. Пропадает. Не весь — но обязательно. Кто не отделил заранее возвратное от невозвратного, тот узнаёт об этом в худший момент и в худшей форме — как об обмане.

Теперь приложим стекло к самому решению Х — и увидим то, что обычно ускользает: решение уже стоит, хотя ещё не принято. Три года это зреет в нём — и эти три года не были нейтральным ожиданием. Они оплачены ночами, в которые он готовил лекции, укравшими сон у судебных дел; неделями бессонницы после разговора с деканом; тем особым фоновым напряжением человека, живущего на два намерения, — оно съедает силы так же верно, как работа, только не оставляет результата. Оплачено и качество его присутствия: дома он в эти годы бывал чаще, чем был. Всё это рассеялось уже — независимо от того, чем кончится дело. Если он уйдёт, эти три года не зачтутся как разбег; если останется, не вернутся как сбережённое. Колёбание — не отсрочка платежа, а один из платежей, и берёт оно в самой твёрдой валюте.

Дальше стекло показывает обе дороги. Если он уходит — годы переучивания рассеиваются в обе стороны: и при удаче, и при неудаче. Из сотен часов, которые он вложит в новое ремесло, до мастерства дойдут не все: часть уйдёт в ложные ходы, в курсы, выстроенные неправильно и переделанные с нуля, в усталость от непривычного, в само привыкание к новой жизни. Это не будет означать, что он делал что-то не так, — это будет означать только, что он делал. Если же он остаётся, рассеяние не прекращается — оно лишь меняет статью. Каждый следующий год в профессии, к которой он потерял вкус, будет стоить ему тех же часов и сил, но теперь с добавочной утечкой: усилие, совершаемое против собственного желания, тратит больше, чем то же усилие, совершаемое по нему, — всякий, кто делал нелюбимую работу, знает эту разницу телом. Остаться — не значит закрыть кран. Кран этот не закрывается вообще ни одним из человеческих решений; решается только, куда течёт.

Здесь важно удержаться от двух ложных интонаций, к которым это стекло провоцирует. Первая — обида: будто рассеяние есть чей-то злой умысел, налог, который кто-то нечестно взимает. Никто не взимает. Утечка — не кара и не чья-то воля, а свойство всякого процесса, идущего в реальном мире: движение трётся, внимание устаёт, дни кончаются. Обижаться на это — всё равно что обижаться на то, что дорога длинна. Вторая ложная интонация — скорбь задним числом: пересчитывать рассеянное, оплакивать каждую невозвратную единицу и в конце концов прийти к выводу, что раз всё равно утекает, то не стоило и начинать. Стекло затраты не для того, чтобы плакать над утечкой, — оно для того, чтобы знать её до того, как открываешь кран, и не путать её с потерей по чьей-то вине, включая свою.

Практический смысл линзы — в особом вопросе, который она добавляет к описи вклада. Первое стекло спрашивало: что нужно внести? Второе спрашивает жёстче: что из внесённого я не верну ни при каком исходе? Это самый трезвящий вопрос из всех, какие можно задать решению, потому что он единственный не зависит от надежды. Всё прочее в решении X окрашено исходом: оправдается — не оправдается, получится — не получится. Невозвратная часть платежа стоит вне этой погоды: она одинакова при любом небе. Пять лет жизни между сорока тремя и сорока восемью будут истрачены в любом случае — вопрос лишь, на что именно; силы этого возраста будут потрачены в любом случае — вопрос лишь, обо что. Считать в невозвратной валюте — значит впервые увидеть собственное решение так, как его увидит время: без вариантов возврата. Для X такой счёт уместается в несколько строк, и каждая тяжелее предыдущей: пять ближайших лет — на любую из двух дорог; силы, которых с каждым годом меньше, — на любую из двух; вечера дочери-подростка, которая через эти пять лет станет взрослой и уедет, — на ту дорогу, которую он выберет, и это единственная строка, где дороги различаются не суммой, а адресом. Такой список не отвечает на вопрос «уходить ли». Он делает другое: убирает из решения последнюю иллюзию, будто одна из дверей ведёт туда, где не платят.

И всё же оба стекла — сохранение и затрата — при всей их разности говорят об одном и том же измерении: о количестве. Сколько внесено, сколько дошло, сколько рассеялось — весь их словарь сводится к «сколько». Но в решении X есть платежи, к которым вопрос «сколько» не пристаёт вовсе. Когда он думает о том, что кафедра несовместима с партнёрством — не потому, что не хватит сил, а потому, что это две разные жизни, — он упирается не в количество, а в устройство. Есть вещи, которые не складываются не оттого, что чего-то мало, а оттого, что они не помещаются в одну форму. Об этом — третье стекло.

2.4. Компромисс размерностей

Третье стекло устроено иначе, чем первые два, и увидеть эту инаковость — половина дела, потому что именно её бытовая речь стирает первой. Сохранение и затрата отвечали на вопрос «сколько»: сколько внести, сколько дойдёт, сколько рассеется. Их пределы, при всей жёсткости, оставляли надежду счёту: недостачу можно уменьшить, внеся больше. Тре-

тье стекло надежду этого рода отменяет. Оно говорит: есть блага, которые не совмещаются не потому, что на оба не хватает ресурса, а потому, что они так устроены. Выигрыш по одной оси структурно оплачивается проигрышем по другой — при любом усердии, любых деньгах и любом таланте. Это не бедность, это геометрия: два максимума не помещаются в одну точку, сколько бы точек ни было у тебя в запасе.

Такие пары окружают нас настолько плотно, что мы перестали их видеть. Скорость и тщательность: можно делать быстро и можно делать безупречно, но требование «быстро и безупречно» — не высокая планка, а непонимание устройства работы, и всякий мастер это знает; редактор, которому дали ночь, и редактор, которому дали месяц, — не один человек в разных условиях, а два разных ремесла. Широта и глубина: человек, знающий всё понемногу, и человек, знающий одно до дна, — не два уровня одного качества, а два взаимоисключающих способа распорядиться конечным вниманием; энциклопедистов среди хирургов не бывает не из-за лени. Близость и неуязвимость: подпустить другого на расстояние, где он может согреть, — значит подпустить его на расстояние, где он может ранить, и не существует дистанции, дающей первое без второго. Надёжность и новизна, свобода и принадлежность, отточенность и живость — список длинен, и всякий раз структура одна: оси перпендикулярны, и движение вдоль одной не приближает ни к чему на другой.

Важно не спутать этот предел с простой нехваткой. Нехватку выдаёт вопрос «а если бы?..»: если бы в сутках было сорок часов, если бы не нужно было спать, если бы денег хватало — совместились бы? Там, где ответ «да», работает не третье стекло, а первые два: это дефицит ресурса, и он в принципе восполним. Третье стекло начинается там, где ответ «нет» — где добавка ресурса ничего не меняет, потому что сами качества исключают друг друга. Никакие лишние часы не позволят быть одновременно тем, кто рискует, и тем, кто застрахован; тем, кто ведёт, и тем, кто растворён в общем; тем, кто судит, и тем, кто утешает. Здесь плата взимается не из кошелька и не из времени — она взимается из формы жизни: выбирая очертание одного блага, ты этим самым очертанием отсекаешь другое.

Первые два стекла показывали решение X как вопрос вклада и утечки; третье показывает в нём несовместимости, которые не лечатся никаким усердием и никаким сроком. Самая глубокая из них — несовместимость мэтра и ученика. В фирме он тот, кому звонят, когда дело никто не берёт: вершина иерархии компетентности, человек, чьё мнение — последняя инстанция. В новом ремесле он неизбежно начинающий — и это не временное неудобство, а условие роста: учится только тот, кто согласился не знать, а позиция «последней инстанции» исключает такое согласие по построению. Быть мэтром и расти нельзя одновременно — не потому, что не хватит сил, а потому, что рост требует открытого фланга, который статус мэтра обязан держать закрытым. X чувствует это кожей, хотя не формулирует: его тянет к кафедре в том числе потому, что там снова можно не знать. Но за это придётся заплатить именно тем, чем он дорожит больше всего, — положением человека, который знает.

Вторая несовместимость — между двумя способами оставлять след. Юрист его уровня действует сам: его результат — выигранное дело, его подпись, его победа, и весь итог принадлежит ему целиком. Учитель действует через других: его результат — чужой рост, отделяющийся от него, забывающий его имя, приписывающий успех себе. Это не две карьеры, а два несовместимых отношения к собственному следу — след-подпись и след-раствор. Нельзя одновременно максимально присваивать результат и максимально отдавать его; каждая профессия X требует своего максимума, и требует его целиком. Полумера здесь хуже отказа: адвокат, мысленно уже на кафедре, начинает проигрывать дела; преподаватель, ревниво метящий чужие успехи своим именем, перестаёт быть преподавателем.

Есть и третья несовместимость, самая неудобная, потому что в ней участвует не он один. Его дом устроен вокруг определённости: ипотечный график, школа дочери, планы на лето, уверенность жены в том, что завтра похоже на сегодня. Эта определённость — не декорация,

а благо, которое он сам двадцать лет строил и которым семья дышит. Но перемена, которой он хочет, по своей природе несовместима с максимумом определённости: нельзя перевернуть основание жизни, оставив жизнь непотревоженной. Здесь бесполезно искать виноватых и бесполезно искать хитрый маршрут: ось «сохранить уклад» и ось «сменить призвание» перпендикулярны, и точка, максимальная по обеим, не существует — не для него, а вообще. Всё, что доступно, — честно выбранная пропорция: сколько определённости семья согласна разменять и сколько перемены он согласен урезать. Разговор, которого он избегает третий год, — это, в сущности, переговоры о координатах этой точки; и откладывается он так упорно потому, что оба собеседника смутно чувствуют: обеих вершин в нём не будет.

Отсюда — главная ловушка, против которой это стекло и выдано читателю: ловушка совмещения. Век обещает, что можно всё: остаться в фирме и «преподавать для души», взять полдня там и полдня тут, ничего не выбирать и ничего не терять. Х живёт внутри этого гибрида уже три года — редкие лекции стажёрам и есть его «полдня тут», — и по собственному состоянию знает, чего гибрид стоит: лучшие часы отданы делу, которое не его, а его дело получает остаток сил и называется хобби. Полумера не успокоила его, а растравила: она показала вкус одной оси, не дав по ней хода. Иногда арифметика такого гибрида даже сходится — часов действительно хватает. Не сходится геометрия. Каждое из двух дел Х по своей природе требует того места в жизни, которое бывает только одно: места главного дела, вокруг которого выстраивается остальное. Два главных дела — это ноль главных дел; человек, отказавшийся выбирать ось, не получает обе — он получает точку в середине, одинаково далёкую от обоих максимумов, и называет её компромиссом, хотя это просто двойная недостача. Компромисс размерностей нельзя обойти, его можно только выбрать — сознательно назначив, по какой оси идёт максимум, а по какой принимается проигрыш.

В этом, собственно, и состоит работа третьей линзы: она переводит вопрос из «как получить всё» — вопроса, на который у реальности нет ответа, — в вопрос «какую пару и в какой пропорции», на который ответ есть всегда, хотя он всегда стоит. Под этим стеклом решение Х впервые перестаёт выглядеть потерей и начинает выглядеть тем, что оно есть: выбором формы. Не «отдать многое, чтобы получить что-то», а начертить свою жизнь по одним осям вместо других — зная, что нечерченного не будет. И заметим попутно, как это стекло дисциплинирует само слово «жертва»: то, что под первыми двумя выглядело убылью, здесь — не убыль. Проигрыш по оставленной оси не рассеялся и не был внесён — его просто нет в выбранной геометрии, как нет ширины у линии. Называть это жертвой можно лишь с оговоркой, и оговорку мы скоро выпишем на карту.

Три стекла легли рядом, и все три, при всей разности, описывали ограничения вокруг Х: потолок, утечку, несовместимость. Сам он под ними оставался неизменным — субъектом, который вносит, теряет и выбирает. Четвёртое стекло наведено на другое. Оно спрашивает не «что он отдаст», а «кем он перестанет быть» — и это единственная из пяти линз, где плата не сопровождает превращение, а совпадает с ним. Ради неё написана вся эта книга.

2.5. Разрушение-как-условие

Первые три стекла, при всей их строгости, оставляли Х целым: субъектом платежа, хозяином счёта, тем, кто решает. Четвёртое наведено на самого хозяина. Его логика звучит просто и не помещается в голове с первого раза: есть новые состояния, которые не могут возникнуть, пока существует прежнее. Не «трудно возникнуть», не «дорого» — не могут. Прежняя форма для них не тара, которую можно потеснить, а препятствие, которое должно быть разобрано. Плата здесь — не то, что сопровождает превращение, как пошлина сопровождает переезд. Плата здесь и есть превращение: разрушение прежнего — не цена нового состояния, а его первая половина.

Почувствовать разницу с соседними стёклами можно на весе местоимений. Затрата спрашивала: что ты отдашь? — и ответы шли в родительном падеже: годы, силы, деньги, вечера. Всё это — имущество; отдающий беднеет, но остаётся собой. Четвёртая логика спрашивает иначе: кем ты перестанешь быть? — и ответ невозможно отдать, не исчезнув в прежнем виде, потому что ответ — не из имущества, а из состава владельца. Компромисс размерностей тоже не про это: он предлагал выбрать очертание жизни, но чертил снаружи, оставляя чертёжника нетронутым. Здесь линия проходит через самого чертёжника. Первые три логики ограничивают плательщика; четвёртая его упраздняет — в той форме, в какой он подошёл к порогу.

Порог — точное слово, и мы задержимся на нём. У всякого настоящего превращения есть порог, и устроен он не как препятствие, а как условие: через него нельзя перенести себя прежнего. Дверь узка не размером — размером она как раз обычна, — а требованием: входящий должен оставить снаружи не багаж, а того, кто этот багаж собирал. Именно поэтому у порога так много топчутся — и топтание принимает самые почтенные формы. Один собирает информацию, годами, всё исчерпаннее; другой ждёт подходящего момента, определяя его так, чтобы он не мог наступить; третий совершенствует себя прежнего, готовя его к переходу, — не замечая, что готовит именно того, кого через порог не пронести. Человек готов заплатить временем — пожалуйста, годы лежат на столе. Готов деньгами, силами, комфортом, даже отношениями. Он принёс к порогу всё, что имеет, и недоумевает, почему дверь не открывается: ведь заплачено щедро, по любой описи из первых трёх стёкол. Дверь не открывается потому, что с той стороны нет места для него нынешнего. Она не берёт выкуп — она берёт входящего.

Обыденная жизнь знает эту логику давно и говорит о ней вскользь, не замечая, что говорит о самом страшном. Нельзя стать взрослым, оставаясь ребёнком, — не потому, что взрослость дорого стоит, а потому, что она есть отсутствие ребёнка на этом месте; и всякий, кто видел сорокалетнего, так и не разобравшего в себе любимое дитя своих родителей, видел не задержку платежа, а несостоявшееся превращение. Нельзя простить, оставшись тем, кто хранит счёт обид: прощение — не жест хранителя, а исчезновение хранимого вместе с должностью. Нельзя научиться новому языку мышления, сохранив в неприкосновенности старый способ быть правым; нельзя вступить в настоящий союз, уцелев в качестве полностью отдельного, — какая-то доля суверенитета не сдаётся на хранение, а перестаёт существовать. Во всех этих случаях бесполезно спрашивать «сколько это стоит» — вопрос не имеет ответа в валютах первых стёкол. Стоит это ровно одного: прежней формы целиком. И культура, задолго до всяких линз, зарезервировала для этого случая отдельное слово. Когда мифы, обряды и предания говорили о жертве — о настоящей, о той, от которой холодеет спина, — они говорили именно о четвёртой логике. Отдать не из своего, а от себя; не долю имущества, а долю существа. Первые три счёта мифу не интересны: баланс и трату он поручает купцам, компромисс — мудрецам. Себе он оставил превращение. Вот почему из пяти логик только эта носит имя жертвы по праву, а не по привычке речи, — и вот почему вся эта книга, что бы она дальше ни разбирала, будет возвращаться сюда, к порогу.

Теперь — X, и на этот раз вопрос к нему безжалостнее прежних. Не «что он отдаст» — это мы уже считали. Кем он должен перестать быть? Ответ не лежит на поверхности, потому что поверхность занята профессией: кажется, что перестать нужно «быть юристом». Но профессия — имущество, её можно сменить, как пальто, и многие меняют. Разрушению подлежит не пальто. Двадцать лет во X строился человек определённой формы: тот, кто выигрывает. Последняя инстанция. Человек, к которому обращаются, когда никто не берётся; который входит в комнату и чувствует, как комната перестраивается; чья цена подтверждена очередью на три месяца и почти подписанным партнёрством. Эта форма — не роль, которую он играет на работе и снимает в прихожей. Это несущая конструкция его самоощущения, и работает она всюду: в том, как он за семейным ужином выносит вердикты, а не мнения; в том, как ему физически трудно произнести «не знаю» — язык предлагает «нужно посмотреть детали»; в том,

как отпуск на третий день начинает казаться ему простым, потому что форма не умеет просто быть — только побеждать. Ею он объясняет себе, кто он, ею смотрит на себя глазами жены, дочери, покойного отца, всей среды, где «состоялся» — высшая из оценок. И вот эта форма — человек-который-выиграл — не может взойти на кафедру начинающим. Не «ей будет трудно» — она не может, как не может огонь остыть, оставшись огнём. Начинаящий — это тот, кто не знает, ошибается прилюдно, зависит от чужой снисходительности и стоит в начале очереди, а не принимает её. Совместить это с последней инстанцией нельзя ни при какой выдержке: либо инстанция, либо ученик. Порог X требует не смены занятия. Он требует разборки той конструкции, на которой двадцать лет держалось его «я» — со всеми её заслуженными, честно оплаченными опорами.

И здесь четвёртое стекло делает последнее, самое неприятное уточнение: разрушение нельзя заменить хранением. Ум X — ум юриста — уже предложил ему компромиссную схему: не разрушить прежнего себя, а сдать в аренду. Отложить статус, как откладывают дорогой костюм: пусть повисит, вернусь — надену. Взять «академический отпуск» от самого себя. Схема утешительна и не работает — не по слабости воли, а по устройству. Прежняя форма, сохранённая про запас, не лежит смирно: она продолжает мерить. Преподаватель, внутри которого живёт нетронутый мэтр, слушает студентов ушами последней инстанции, стыдится начинающего в себе как понижения и ждёт возвращения в настоящую жизнь — а значит, не учится, потому что учёба требует того самого открытого фланга. Хранимое прежнее не даёт новому состояться; дверь чувствует спрятанное, как весы чувствуют гирию в кармане. Через порог не переносят себя прежнего — ни на плечах, ни контрабандой, ни по частям. Либо прежний разобран, либо перехода не было, какой бы ни была вывеска на новой жизни.

Оттого это стекло — единственное из пяти, глядя в которое человек медлит не от жадности, а от ужаса вполне достойного. Торговаться здесь не с кем и нечем: четвёртая логика не знает рассрочки, скидки за выслугу, частичной оплаты. Она знает одно слово — «целиком» — и одно место, где его произносят: порог.

Теперь понятно и то, почему пять логик так охотно склеиваются в одно слово — и кому эта склейка служит. Первые три платежа, при всей их тяжести, психологически выносимы: считать деньги, годы и несовместимости больно, но считающий остаётся цел. Поэтому человек у порога с готовностью пересчитывает именно их — снова и снова, всё подробнее, всё добросовестнее. X за три года составил в голове десятки финансовых моделей своего ухода; он знает с точностью до месяца, когда закончится подушка, и с точностью до процента, сколько потеряет на партнёрстве. Эта бухгалтерия выглядит как подготовка к решению. Она — способ его не принимать: покуда всё внимание занято статьями, которые можно считать, не остаётся внимания на статью, которую можно только исполнить. Слово «жертва», сваливающее пять платежей в один, обслуживает ту же уловку в масштабе языка — оно позволяет говорить о цене превращения, ни разу не сказав, что превращаемое — говорящий. Развести пять логик и значило, среди прочего, отнять это укрытие.

X стоит перед порогом третий год, и теперь видно, что он на самом деле охраняет своим промедлением: не доход, не статус, не уклад — всё это статьи других стёкол. Он охраняет человека-который-выиграл от разборки. А охрану называет взвешенностью.

Строгая жертва названа и показана; порог очерчен. Осталось последнее стекло — цена не того, что отдано, а того, что теперь не случится.

2.6. Альтернативные издержки

Пятое стекло — самое тихое из пяти, и в этой тишине его коварство. Оно не требует ни вклада, ни утечки, ни разрушения; под ним ничего не отнимается и ничего не ломается. Оно просто показывает то, чего не будет. Всякое «да», сказанное одной жизни, есть одновременно

«нет», сказанное остальным, — и цена выбора складывается не только из отданного, но из несбывшегося: из всех ветвей, которые в момент выбора перестают расти. Эта плата не похожа на предыдущие настолько, что её часто вовсе не признают платой: ведь ничего не ubyло. Деньги на месте, силы на месте, человек цел. Просто где-то, в пространстве возможного, беззвучно закрылась дверь — и жизнь, которая была за ней, из «ещё может быть» перешла в «уже никогда». Никто не пришёл за платежом; платёж состоял в том, что некому стало приходить.

Важно сразу отделить это стекло от затраты, с которой его путают чаще всего. Затрата — убыль имевшегося: годы, силы, внимание существовали и были истрачены. Издержки — небытие возможного: похороненная ветвь не существовала никогда, у неё нет ни веса, ни даты, ни следа. Оттого она и не болит в момент выбора: нельзя почувствовать исчезновение того, чего ещё нет. У этой платы отложенная чувствительность — она догоняет позже, годами, в форме самого тихого из человеческих жанров: «а если бы». Он приходит без предупреждения и по пустячным поводам: чужой разговор в поезде, вывеска на языке, который когда-то начинал учить, ровесник в новостях, сделавший то, от чего ты в своё время отказался. Мужчина, глядящий вслед чужой жизни, похожей на его непрожитую; женщина, замирающая над чужим маршрутом, который когда-то был и её развилкой, — это не сожаление о потерянном, потому что потеряно ничего не было. Это опоздавшая квитанция за несбывшееся, предъявленная в единственный момент, когда её уже нельзя оплатить иначе, чем признанием. И чем дольше человек уверял себя, что его выбор был бесплатным — что он «ничего не терял», просто жил как жил, — тем тяжелее эта квитанция оказывается: непризнанные платежи не исчезают, они копятся под другим именем.

Приложим стекло к X — и сначала увидим: оно работает на всех масштабах сразу. Большие развилки вроде его нынешней — лишь самые заметные узлы; сама же плата взимается ежеминутно и по мелочи. Вечер, проведённый с телефоном, — похороненный вечер с дочерью, которой осталось жить дома меньше, чем прожито; согласие на пустую встречу — несостоявшиеся два часа над делом, которое того стоило; каждое машинальное «да» хоронит своё крошечное «могло быть», и из этих микроскопических похорон складывается то, что человек к пятидесяти называет «как-то так сложилось». Сложилось не «как-то»: каждая ветвь была закрыта конкретным, поимённым «да», сказанным чему-то другому.

Но вернёмся к большой развилке — к той двери, в которую X смотрит. Если он уходит, хоронятся ветви, каждую из которых он способен разглядеть в подробностях, потому что двадцать лет к ним шёл. Не будет X-партнёра: человек, чьё имя стоит на бланке фирмы, чьи полшага до вершины были выстраданы и почти пройдены, — не состоится никогда; вершина не подождёт и не сохранится, её займут другие. Не будет X — того отца, который мог дать дочери небрежную широту возможностей: любой университет, любую страну, подушку, с которой её молодость могла бы позволить себе собственные развилки. Не будет позднего X-мэтра, к шестидесяти — живой легенды цеха, чьи ученики-юристы разнесли бы его школу по всей профессии. Эти жизни не будут ни разрушены, ни истрачены. Они просто не произойдут — тихо, без похорон, без даты смерти, которой не бывает у нерождённого.

Но у стекла две стороны, и вторая для X неудобнее. Если он остаётся — хоронится другой ряд, и то, что эти ветви скромнее, не делает их менее живыми. Не будет аудитории, которая через десять лет его усилий станет его аудиторией; не будет сотен людей, чьё мышление он мог перестроить и которые понесли бы это дальше, не зная его имени; не будет той версии его самого, которая по утрам хочет на работу, — он уже встречал её, выходя от стажёров с прямой спиной, и знает, что она существует в возможности. Не будет, наконец, ответа на вопрос, который иначе останется с ним до конца: кем бы я был, если бы решился. Стекло беспристрастно: оно не говорит, какое кладбище больше. Оно говорит, что кладбища — два, по одному за каждой дверью, и что не бывает выбора, после которого не остаётся несбывшегося. Кто ищет дверь без кладбища за спиной, ищет не выбор, а чудо. И это переворачивает привычную арифметику

осторожности: остаться, «ничем не жертвуя», невозможно — остающийся жертвует ровно так же, только его несбывшееся не предъявляется никому и потому кажется несуществующим. Осторожность не дешевле смелости; просто её счёт приходит позже и без подписи.

И здесь пятое стекло сообщает самое важное. Эту плату невозможно приостановить даже бездействием. Вклад можно не вносить, у порога можно стоять — но ветви закрываются и у стоящего. Промедление не откладывает платёж, а лишь меняет выбирающего — с человека на время: пока Х третий год взвешивает, календарь делает выборы за него — молча, аккуратно, не спрашивая. Каждый семестр, начавшийся без него, — семестр, в котором его студенты учились у другого; каждый год после сорока трёх сужает коридор, в котором смена ремесла ещё возможна как рост, а не как чудачество; и даже партнёрство, его синица в руках, не ждёт бесконечно — терпение фирмы тоже ветвь, и тоже смертная. Не-выбор ощущается как сохранение всех возможностей; на деле это способ похоронить их в порядке очерёдности, не присутствуя на похоронах. Пятая логика взымает плату ежеминутно и со всех — с решившихся, с отказавшихся и с размышляющих, — и в этой всеобщности её тихое величие: она не оставляет позиции наблюдателя. Читатель, следивший за Х из безопасного кресла, платит по пятому счёту прямо сейчас — самым часом, отданным этой странице.

Что делает с человеком это знание, если не даёт ему скатиться в сожаление? Оно меняет вопрос. Наивный счёт спрашивает: что я отдаю за это «да»? Пятое стекло спрашивает: какие «нет» я подписываю этим «да» — и какие подписываю своим молчанием? Заметим, что от этого счёта не освобождает даже пройденный порог: четвёртая логика брала прежнего человека, пятая продолжает брать и с нового — превращённый тоже выбирает, и за каждым его «да» тоже вырастает своё несбывшееся. У этого счёта нет последней даты. Список несбывшегося нельзя составить полностью — возможное неисчислимо, — но главные ветви всегда видны, и честность состоит в том, чтобы посмотреть на них до, а не после. Х, составивший десятки финансовых моделей, ни разу не выписал на бумагу два своих кладбища рядом. Это можно понять: такая опись не обещает облегчения. Она обещает другое — что «а если бы», когда оно придёт (а оно придёт при любом исходе), встретит человека, который знал, что подписывал.

Пять стёкол легли в ряд, и веер платежей раскрыт целиком: потолок, утечка, несовместимость, порог, несбывшееся. Один и тот же человек перед одним и тем же решением оказался должен по пяти разным счетам, ни один из которых не сводится к другому. Но инструмент, разложенный на части, ещё не инструмент: чтобы линзы стали оптикой, нужно знать пределы каждой — карту, где кончается точный смысл и начинается одолженное имя. Без этой карты пять стёкол снова сольются в одно мутное — и всё различённое склеится обратно — в то самое неопрятное слово.

2.7. Буквальное или аналогия

Инструмент, не знающий собственных пределов, опаснее его отсутствия: голыми глазами человек хотя бы знает, что видит плохо. Пять стёкол разложены и опробованы; осталась последняя работа, без которой они не оптика, а набор увеличений, — калибровка. Про каждую линзу нужно честно сказать, где она читает мир буквально, а где мы, глядя сквозь неё, говорим уже переносно. Это не педантизм. Слово «жертва» потому и склеилось в один мутный ком, что пять разных отношений к реальности — от строгого закона до поэтической вольности — веками произносились одним тоном, как будто все они одинаково тверды. Карта, которую мы сейчас составим, и есть цена честности инструмента: с ней читатель всегда будет знать, каким видом истины он в данный момент располагает.

Начнём с первых двух линз — сохранения и затраты. В мире вещей они буквальны в самом строгом смысле слова: там это не наблюдения и не тенденции, а законы, счёт по которым сходится до последнего знака, и вся точная наука стоит на том, что исключений не будет. Что

ушло — ушло туда-то; что рассеялось — рассеялось столько-то; баланс вещества и движения сводится с точностью, которой не знает ни одна бухгалтерия. Но стоит перенести эти линзы на жизнь — на решение X, на «вложенные годы» и «рассеянное внимание», — и статус высказывания меняется, хотя грамматика остаётся той же. Годы не единицы энергии; внимание не жидкость; «вклад в мастерство» нельзя взвесить, а у человеческих валют нет общего знаменателя, к которому их можно привести для строгого счёта. Говоря о жизни языком баланса и утечки, мы говорим по аналогии. Это надо признать прямо — и так же прямо признать, что аналогия не ложь. Она точна как аналогия: соответствие «итог не превысит вклада» и «рассеянное не вернётся» держится в жизни с упрямством, которое само требует объяснения — слишком уж послушно человеческое повторяет вещественное, чтобы это было совпадением речи. Но держится оно как верное подобие, а не как теорема, — и кто забудет разницу, тот начнёт требовать от жизни точности физического счёта и предъявлять ей иски за недостатку.

Третья линза — компромисс размерностей — на карте стоит особняком, потому что она не буквальна и не переносна: она структурна. Несовместимость максимумов — истина того же рода, что истины геометрии: она не о веществе и не о чувствах, а об устройстве всякой конечной формы, и потому работает везде, где есть конечность, — в чертеже, в бюджете, в характере, в жизни X. Спрашивать, «буквально» ли нельзя совместить два максимума, — всё равно что спрашивать, буквально ли у треугольника три угла: вопрос не имеет смысла, истина держится не на материале, а на форме. Из всех пяти это самая переносимая линза — ей всё равно, на что смотреть, — и одновременно самая скромная: она никогда не скажет, что выбрать, только что совместить не выйдет.

Четвёртая линза — разрушение-как-условие — возвращает нас к буквальному, и это стоит подчеркнуть, потому что интуиция здесь обманывает. Кажется, что «разрушение прежнего себя» — самая метафоричная из всех формул, красивое слово для трудной перемены. Карта говорит обратное: в живом и в психике эта логика буквальна. Живая форма, чтобы стать другой формой, реально разбирается — не «как бы», не «в некотором смысле», а физически, до материала; и прежняя идентичность человека при настоящем превращении реально перестаёт существовать — распадается связность, которой он был, и никакая её «копия» нигде не хранится. Здесь важна сама отметка на карте: там, где речь о жизни и о душе, четвёртое стекло — не поэзия. Это самая твёрдая почва из всех, на какие мы ступали, твёрже даже, чем перенос первых двух линз, — и одновременно единственная, где твёрдость пугает.

Пятая линза — счёт несбывшегося — занимает на карте последнее особое место. Несбывшееся не существует нигде: у похороненной ветви нет ни массы, ни следа, ни адреса, и никакой прибор не отличит мир, где X мог стать учителем, от мира, где не мог. Этот счёт ведёт только сознание — единственная известная нам инстанция, способная держать в руках то, чего нет. Значит ли это, что пятая плата «не настоящая»? Для камня — да: у камня нет несбывшегося. Для существа, которое живёт, сравнивая действительное с возможным, этот счёт так же реален, как любой другой, — по нему болят, по нему стареют, по нему просыпаются в четыре утра. Больше того: немалая часть того, что люди называют судьбой, характером и даже счастьем, есть форма их отношений с этим счётом — с тем, как человек носит своё несбывшееся. Просто его реальность иного рода: она существует ровно постольку, поскольку существует тот, кто считает. На карте так и пометим: территория действительная, но обитаемая только изнутри.

Теперь карту можно прочесть целиком — и увидеть на ней то, ради чего она чертилась. Пять логик не одинаково «жертвы», и говорить о них одним словом можно лишь ценой постоянного подмены. Сохранение — не жертва, а рамка: оно ничего не берёт, оно лишь запрещает получить из ниоткуда. Затрата — расход: неизбежный, необратимый, но безличный, как износ. Компромисс размерностей — выбор формы, где «потерянное» не отнято, а не начерчено. Альтернативные издержки — тень выбора, счёт, существующий только в считающем. И лишь четвёртая логика — разрушение прежнего как условие нового — несёт имя жертвы по праву,

потому что лишь в ней платят не из своего, а собой, и плата не сопровождает превращение, а совпадает с ним. Четыре соседних смысла — уважаемые, точные, необходимые для счёта. Но когда эта книга дальше будет говорить «жертва» без оговорок, она будет иметь в виду четвёртое стекло — и читатель теперь всегда сможет проверить, честно ли она этим словом распоряжается.

Проверим карту на нашем полигоне — прочтём решение X по графам. «Он потеряет пять шестых дохода» — буквально: деньги считаются, и счёт сойдётся. «Он вложил в профессию двадцать лет» — аналогия, точная и честная: годы не складываются в сумму, но соответствие держится. «Кафедра несовместима с партнёрством» — структурно: это не про его силы и не про его деньги, это про форму, и спорить тут не с чем. «Он должен перестать быть человеком-который-выиграл» — буквально в том единственном смысле, в каком бывает буквальной душа: связность, которой он был, действительно подлежит разборке, и слово «должен перестать быть» здесь не украшение. «Он хоронит жизнь, в которой стал бы партнёром» — счёт несбывшегося: нигде, кроме его сознания, этой жизни нет, и нигде, кроме его сознания, её похороны не состоятся, — что не мешает ему просыпаться от них среди ночи. Одно решение, пять граф, пять разных видов истины — и ни одну нельзя подменить другой без вранья. Вот что значит калиброванный инструмент.

У калиброванной оптики есть и охранная служба. Карта защищает от риторики: когда расход объявляют жертвой — «я стольким пожертвовал», сказанное про обычный износ выбора, — говорящий покупает словом пафос, которого не оплатил, и карта позволяет вернуть высказывание в его настоящую графу; половина семейных и половина публичных счётов на проверку оказываются такими переводами из графы в графу. И она же защищает от слепоты обратного рода: когда подлинную жертву — разрушение человеком собственной формы — снисходительно проводят по ведомству расходов, как будто человек просто «сменил работу», и удивляются потом, отчего он так долго и так странно болеет своим решением. Оба искажения делает возможным одно и то же мутное слово; обоим кладёт конец одна и та же карта.

Инструмент собран, испытан на живом решении и откалиброван; пять стёкол научились не притворяться друг другом. Осталось одно — короткая заметка на полях, прежде чем оптика выйдет из мастерской в открытый мир.

2.8. Зарубка: а кто гарантирует?

Напоследок — мелочь на полях, к делу пока не относящаяся. У Одина был контрагент: некто сидел напротив, принимал плату и выдавал обретение — глаз с одной стороны, глоток с другой; условия были известны до сделки, цена объявлена заранее, как в лавке с честным преysкурантом. У X никого нет. Он может выложить на стол всё перечисленное — годы, силы, форму, похороненные ветви, — но напротив его стола пусто: никто не оглашал ему расценок, никто не принимал его платежей под расписку, и вывески над его дверью не висит. Отметим это — и пройдем мимо; нас ждёт работа.

Неопрятное слово, покрывавшее собой всё подряд, перестало существовать. На его месте теперь пять: рамка, расход, форма, порог и счёт несбывшегося, и лишь порог сохранил за собой старое страшное имя. X так и стоит перед своим решением — мы не сдвинули его ни на шаг, да и не собирались. Сдвинулось другое: он виден теперь в пяти светах сразу, и вместе с ним становится виден всякий, на кого наведёшь эту оптику. В том и особенность собранного инструмента, что его нельзя разобрать обратно: кто однажды различил пять платежей в одном слове, тот уже не сумеет услышать «пришлось пожертвовать» по-старому — ни от других, ни от себя. Оптика останется при читателе и будет работать без спроса, в том числе там, где удобнее было бы не видеть. Такова, впрочем, цена всякой оптики — и она вписывается в одну из пяти граф; в какую именно, читатель теперь может определить сам.

Часть II. Свидетельства реальности

Если закон настоящий, он не может жить только в мифах. Мифы сочиняют люди, а люди склонны рассказывать себе одно и то же: истории о цене можно объяснить страхом, завистью, попыткой утешить проигравших. Совпадение сюжетов ещё ничего не доказывает — доказывает совпадение показаний. В суде так проверяют версию: если три свидетеля, не знакомые друг с другом, не имевшие возможности сговориться и смотревшие с разных мест, описывают одну и ту же сцену — сцена была. Закон, если он есть, должен проступать там, где никто не рассказывает историй: в термодинамике, которая не знает слова «жертва»; в клетке, которая не читала мифов; в психике, в рынке, в мастерской. Каждый из этих свидетелей будет говорить на своём языке, и цена в их показаниях будет выглядеть по-разному — теплом, тканью, болью, упущенной возможностью. Меняется валюта — не меняется правило: чтобы стало одно, должно уйти другое. И в этом вся сила довода: свидетели не знакомы друг с другом, сговор исключён, а показания сходятся. Мы пойдём по лестнице снизу вверх — от вещества к жизни, от жизни к психике, от психики к смыслу, — и на каждой ступени будем спрашивать одно и то же: что здесь отдано и что получено. Начать придётся с самой нижней ступени, самой холодной и самой надёжной: с той, где платят ещё не люди и даже не живое, а само вещество.

Глава 3. Физика: сохранение и энтропия

Вселенная не выдаёт ничего бесплатно — но сама об этом не знает. В её бухгалтерии нет ни кассира, ни морали: баланс сходится не потому, что кто-то следит, а потому, что иначе не бывает. Три её правила держат всё остальное. Первое запрещает получить из ничего: сколько внесено, столько и будет. Второе выставляет счёт за порядок: любая структура где-то оплачена рассеянием, и порядок в одном месте всегда куплен теплом, ушедшим в другое. Третье запрещает иметь всё сразу: точность по одной оси оплачивается слепотой по другой. Ни одно из трёх не было придумано для людей, и ни одно не делает для людей исключения. Это самая твёрдая почва, на какую может встать наш вопрос: если жест «отдать, чтобы получить» держится уже здесь, где нет ни воли, ни выбора, ни рассказчика, значит, мифы не выдумали его, а подсмотрели.

3.1. Первый закон

За всё надо платить. Фразу произносят с усталостью, за столом после плохих новостей; ею утешают проигравшего и осаживают везучего; она звучит как житейская мудрость — то есть как нечто, что люди придумали друг для друга. Кажется, что это мораль: наблюдение о человеческих делах, обобщение обид и расплат, присказка, у которой должны быть исключения — для ловких, для любимчиков судьбы, для тех, кто успел проскочить. Житейское «за всё надо платить» допускает торг. В нём слышится: как правило — платят, но бывает всякое. Потому эту фразу и произносят так часто: она не запирает дверь, а лишь прикрывает. Каждый, кто её говорит, втайне держит в уме список знакомых, которым сошло с рук, — и надежду однажды попасть в этот список самому.

Физика произносит ту же фразу без интонации и без оговорок. Из ничего — ничего. Энергия не возникает и не исчезает; она лишь меняет форму и переходит из рук в руки. Это первый закон термодинамики, и его можно назвать самым простым и самым жёстким пределом вселенной: всё, что ты получил, откуда-то взято. Не «как правило» откуда-то. Не «обычно». Взято — всегда, полностью, до последней доли.

У этого предела есть история, и она поучительнее любого вывода. Столетиями изобретатели несли в академии чертежи вечных двигателей — колёса с перетекающей ртутью, самоподъёмные грузы, магнитные карусели. Каждый проект был хитроумнее предыдущего; каждый прятал в себе одну и ту же надежду — получить работу, не внося платы. В 1775 году Парижская академия наук объявила, что больше не рассматривает такие проекты. Не потому, что все они были глупы — среди них попадались изящные, — а потому, что вопрос был закрыт до рассмотрения. Академики не проверяли механизмы; они знали, что проверять нечего. Так ведёт себя не правило, а закон: правило разбирает случаи, закон отменяет разбирательство. Дальше можно было не смотреть на чертёж — достаточно было знать, что он обещает.

Показательно и то, как этот закон был найден. Его не вывел один гений из одной формулы — к нему почти одновременно, в сороковые годы девятнадцатого века, пришли люди, не сговаривавшиеся и занятые разным. Судовой врач Роберт Майер заметил на Яве, что венозная кровь матросов в тропиках светлее, чем в северных широтах, — телу в жаре нужно меньше сжигать, чтобы согреться, — и от этого наблюдения дошёл до всеобщего сохранения. Пивовар Джеймс Джоуль, человек практический, годами мерил, сколько тепла даёт размешивание воды лопастями, — и нашёл точный курс обмена между работой и теплом. Врач-физиолог Герман Гельмгольц пришёл со стороны живого — из вопроса, откуда мышца берёт силу. Врач у экватора, пивовар у чана, физиолог у препарата: три свидетеля, не знакомые с делом друг друга, дали одинаковые показания. Так открывают не идею, а факт. Идеи носятся в воздухе одной

эпохи и одной среды; факт находят с любой стороны, с какой ни зайдёшь, — потому что он лежит там независимо от того, кто и зачем ищет.

С тех пор ни один механизм не опроверг этого решения. Всё, что движется, движется на внесённом. Костёр платит деревом. Мышца — сахаром, и сахар этот когда-то был солнечным светом, пойманным листом. Само солнце светит не даром: каждую секунду оно расходует миллионы тонн собственного вещества, и его щедрость — это его убыль. Гидростанция берёт у падающей воды не больше того, что вода теряет в падении. Проследите любую порцию энергии назад по цепочке — и вы никогда не найдёте начала из ничего, только передачу: свет стал листом, лист — зерном, зерно — хлебом, хлеб — усилием руки, усилие — теплом, растворившимся в комнате. На каждом звене что-то отдано, чтобы следующее звено могло взять; ни одно звено не добавило к сумме ни крупинки. Куда ни посмотри, везде одно движение: не творение, а перераспределение. Вселенная не производит богатства; она его перекладывает. Это и есть логика сохранения в её лабораторно чистом виде — первая из пяти, очищенная от всего человеческого: ни должника, ни займодавца, ни обиды, одна арифметика переливов.

Здесь стоит остановиться и заметить, чего в этой картине нет. В ней нет кассира. Житейское «за всё надо платить» подразумевает кого-то, кто взимает: судьбу, справедливость, завистливых богов. Первый закон не взимает — он просто не позволяет. Никто не сидит у окошка, никто не проверяет квитанций, никто не радуется, поймав неплательщика. Баланс сходится сам, без надзора, потому что несведённый баланс — это не нарушение, а бессмыслица: строка, которой не может быть в книге. Закон не награждает бережливых и не наказывает расточительных; он не делает исключений для достойных и не ставит подножек наглым. У него нет намерения. Он ничего не хочет — и потому с ним нельзя договориться.

Именно это отличает его от всякой человеческой версии той же мысли. Житейская плата — переговорная: можно выторговать скидку, разжалобить займодавца, найти лазейку, дожидаться амнистии. Человеческие счета прощают, теряют, подделывают. Физический счёт нельзя обжаловать, потому что некому подавать жалобу; нельзя обмануть, потому что некого обманывать; нельзя подкупить, потому что взятку не примет никто — принимать некому. Сохранение — это не строгий судья, а отсутствие самой инстанции, к которой можно было бы апеллировать. Мир не суров. Мир устроен.

О том, насколько это устройство надёжно, говорит один эпизод из двадцатого века. Когда физики разглядели распад атомных ядер, баланс вдруг перестал сходиться: часть энергии исчезала бесследно, и это было первое за век показание против сохранения. Выбор стоял так: признать, что закон всё-таки знает исключения, — или заявить, что недостачу уносит частица, которую никто никогда не видел. Физики выбрали невидимую частицу. Со стороны это похоже на упрямство бухгалтера, который скорее допишет в книгу вымышленного курьера, чем согласится на несведённый итог. Но через четверть века частицу поймали: нейтрино существовало, недостача сходилась без остатка. Упрямство оказалось точным знанием того, чему в этом мире можно верить. Закону сохранения доверяют больше, чем собственным глазам, — и до сих пор глаза ошибались, а он нет.

Отсюда странное, почти освобождающее следствие: этот предел никого не имеет в виду. Когда житейская мудрость говорит «за всё надо платить», в ней слышен укор — тебе, лично, за твою надежду проскочить. Первый закон не укоряет, потому что не замечает. Он одинаково безразличен к тому, кто вносит плату с достоинством, и к тому, кто ищет лазейку: лазейки нет не для тебя — её нет вообще, как нет северного берега у северного полюса. Человек, понявший это, перестаёт тратить силы на два одинаково пустых занятия: на поиск обходного пути и на обиду, что путь не находится. Обижаться на сохранение — всё равно что обижаться на таблицу умножения; она не отвергла твою просьбу, она не получала её.

И потому знакомая присказка, пройдя через физику, возвращается неузнаваемой. Была мораль — стало устройство. Было обобщение обид — стал предел, который держит звёзды и

мышцы одинаково равнодушно. То, что человек за столом произносит со вздохом, вещество исполняет без вдоха — миллиарды лет, во всех точках сразу, не зная, что исполняет. Сохранение — самая твёрдая версия платы ещё и потому, что она самая скромная: закон не говорит, что платить правильно, что плата облагораживает, что заплатившему воздастся. Он говорит только одно: сверх внесённого не будет выдано. Из ничего — ничего; четыре слова, и в них нет ни угрозы, ни обещания — одна невозможность. Точка стоит там, где мораль обычно только начинает говорить.

Скромность эта, впрочем, имеет продолжение. Сохранение запрещает получить из ничего — но оно ничего не говорит о том, почём обходится порядок. Суммы сходятся, однако в этих суммах есть графа, о которой первый закон молчит: за то, чтобы из рассыпанного собрать собранное, из тёплой каши мира вылепить структуру, вселенная берёт отдельную плату. О ней говорит второй закон — и говорит вещи менее очевидные и более неумолимые.

3.2. Второй закон

Если сумма не меняется никогда, откуда тогда нужда? Первый закон, взятый в одиночку, рисует мир, в котором можно устроиться навсегда: энергия не исчезает — значит, однажды полученного должно хватить на вечность, крути его по кругу и живи. Но кофе в чашке остывает и никогда не нагревается сам. Завод не работает на вчерашнем угле. Тело, накормленное вчера, к утру снова голодно. Что-то расходуется в мире, где ничто не может исчезнуть, — и это «что-то» есть предмет второго закона.

Расходуется не количество — качество. Энергия, совершив работу, не пропадает, но опускается: из сосредоточенной становится рассеянной, из способной толкать — неспособной ни на что. Тепло, ушедшее из чашки в воздух комнаты, никуда не делось, каждая его доля на месте — но собрать его обратно и вскипятить им чашку нельзя. Оно разменяно — окончательно и для всех. Так купюра, разменянная на медяки и рассыпанная по площади, формально цела: сумма та же, монеты существуют. Но купюры больше нет, и никто не соберёт её из этой пыли. Первый закон следит за суммой и находит её неизменной; второй смотрит на достоинство монет — и видит, что оно убывает всегда, при каждом обмене, без исключений. У этой убыли есть имя: энтропия. Слово звучит холодно и научно, но означает простую вещь — меру разменянности мира, долю энергии, которая ещё есть, но уже ни на что не годна.

И вот главное: этой убылью оплачен всякий порядок. Самый крупный пример висит над головой. Земля отдаёт в космос почти ровно столько энергии, сколько получает от Солнца, — по количеству её счёт с небом сходится в ноль, и первый закон, глядя на этот баланс, не нашёл бы, на что жить планете. Но получает она энергию собранной — плотным горячим светом, — а возвращает разменянной: тусклым тепловым излучением, разошедшимся во все стороны. Вся жизнь на планете, все леса, ветры и города существуют на этой разнице курса: не на притоке энергии, которого нет, а на притоке порядка, который есть. Земля — меняльная лавка, живущая с размена; и Солнце оплачивает этот размен собственным сгорающим веществом — самой буквальной валютой из всех возможных.

Второй закон разрешает собирать структуру — кристалл, дом, библиотеку, город — но только за счёт того, что где-то рядом рассеется больше, чем здесь соберётся. Холодильник наводит холодный порядок в своём ящике — и греет кухню сильнее, чем остужает ящик: приложите ладонь к его задней стенке, там всегда тепло, и этого тепла больше, чем отнятого у молока холода. Комната убрана — человек вспотел, и его обед, вчерашний солнечный свет, ушёл в это тепло. Город стоит стройными кварталами — где-то сожжены пласты угля, и дым этот не вернётся в пласт. Куда ни посмотри, порядок локален, а плата за него глобальна: остров собранного посреди растущего моря рассеянного, и море поднимается ровно потому, что

остров насыпан. Вселенная не запрещает строить. Она выставляет счёт — теплом, — и счёт всегда больше стройки.

Соблазнительно увидеть в этом лазейку: а нельзя ли сортировать даром? В девятнадцатом веке физик Максвелл придумал существо, которое с тех пор носит его имя, — крошечного демона у заслонки между двумя половинами сосуда. Демон пропускает быстрые молекулы направо, медленные налево — и, не совершая работы, разделяет тёплое и холодное, наводит порядок из ничего, посрамляя второй закон. Демона разгадывали почти столетие, и разгадка стоит всей задачи: чтобы сортировать, надо видеть, помнить и решать, а видеть, помнить и решать — это тоже работа, и её цена, если сосчитать честно, всегда превышает выигрыш от сортировки. Демон не опровергает счёт — он просто не заметил, что сам в него включён. Наблюдение стоит. Знание стоит. Даже выбор — быструю пропустить, медленную задержать — имеет термодинамическую цену, и она не прощается никому, включая демонов.

С этим счётом приходит и направление. Первый закон обратим: он одинаково доволен фильмом, пущенным вперёд и назад, — суммы сходятся в обе стороны. Пустите назад плёнку с маятником или летящим мячом — и подделки никто не заметит: механика без трения не различает направлений. Но пустите назад костёр — дым стекается из неба в трубу, пепел срывается в поленья, тепло комнаты собирается обратно в огонь, — и подделка очевидна ребёнку. Всё, что ребёнок здесь опознал, — это второй закон: единственный из физических законов, который отличает вперёд от назад. Чашка падает и разбивается; осколки не собираются в чашку. Сливки расходятся в кофе; кофе не расслаивается обратно. Капля чернил расходится в стакане; вода не соберёт её обратно в каплю. Всё это — один и тот же запрет, увиденный в разных декорациях: разменянное не собирается само. Стрела времени, которую мы чувствуем кожей — вот это уже случилось, этого уже не вернуть, — не человеческое переживание, наложенное на безразличный мир; она вбита в само вещество. Необратимость — не то, что мы думаем о мире. Это то, что мир делает.

Важно не спутать два закона, потому что их путают постоянно, и путаница льстит. Первый говорит: не получишь сверх внесённого. Второй говорит больше и хуже: даже внесённое ты не получишь обратно целиком. Всякий обмен идёт с убылью; всякое действие оставляет мир чуть более разменным, чем застало: самой операции размена сопутствует безвозвратная усушка, и её не покрывает никто. В бытовом «за всё надо платить» слышен только первый закон. Второй звучал бы так: за всё надо платить, и часть платы сгорает при передаче — не достаётся никому. Первый оставляет надежду хотя бы на честный обмен без потерь; второй отбирает и её: обмен без потерь — такая же несуществующая строка в книге мира, как выдача без вклада.

И снова, как и у сохранения, у этого счёта нет счетовода. Энтропия — не наказание за дерзость строить и не налог, придуманный завистливым мирозданием. Рассеяние растёт не потому, что кто-то берет, а потому, что рассеянных состояний неизмеримо больше, чем собранных, и мир, перебирая свои состояния, просто чаще оказывается в тех, которых больше. Осколков у чашки — мириады вариантов, целая чашка — один; вот и вся мистика необратимости. Закон не карает порядок — он лишь делает его дорогим и временным. Каждая структура в мире, от кристалла до библиотеки, — это взятый у рассеяния островок, за который непрерывно вносится тепловая плата; перестань вносить — и остров уйдёт под воду не от чьего-то гнева, а от простой статистики.

Отсюда следует вещь, которую стоит проговорить отдельно: порядок нельзя купить — его можно только арендовать. Разового платежа не существует. Дом, построенный и оставленный, начинает возвращаться в землю с первого дня; сад без прополки зарастает за сезон; язык без говорящих мертвеет; даже надпись на камне, самая упрямая из человеческих структур, — это лишь очень медленная сдача позиций, а не победа. Всё, что выглядит как обладание порядком, при ближайшем рассмотрении оказывается непрерывным потоком платежей, который просто

ещё не прервался. Второй закон превращает всякое «иметь» в «поддерживать» — и в этом смысле у вселенной нет собственников, одни арендаторы с бессрочным счётом.

Так вторая опора встаёт рядом с первой, и вместе они очерчивают положение всякого, кто хочет что-то построить в этом мире. Первый закон отвечает за количество: из ничего — ничего. Второй — за направление и убыль: всё собранное оплачено рассеянным, и платёж не возвращается. Но есть и третий предел, не похожий на эти два: он говорит не о том, сколько стоит получить, и не о том, что стораёт при передаче, а о том, что некоторые вещи нельзя иметь одновременно — ни за какую плату.

3.3. Неопределённость

Первые две опоры говорили о плате в привычном смысле: чтобы получить, внести; при передаче — потерять. Третья устроена иначе. Она говорит не о том, сколько стоит вещь, а о том, что некоторые пары вещей нельзя иметь вместе — ни за какую цену, ни при каком старании, ни с каким инструментом. Это не дороговизна, которую можно осилить, накопив побольше. Это несовместимость, у которой нет цены, потому что предложение снято с торгов.

В глубине вещества этот предел выглядит так: у частицы нельзя одновременно знать точное положение и точную скорость. Чем резче ты видишь, где она, тем меньше можешь сказать, куда и как быстро она движется; чем точнее схвачено движение, тем сильнее размыто место. Это соотношение носит имя Гейзенберга, и с ним связано самое устойчивое недоразумение во всей физике. Долго казалось — и до сих пор часто пересказывается, — что дело в грубости измерения: чтобы увидеть электрон, надо осветить его, свет толкает его, и потому, узнав место, мы сами испортили скорость. Объяснение утешительное: выходит, предел — в неуклюжести наших рук, и руки поумнее когда-нибудь обойдут его. Но объяснение неверно. Предел стоит не между нами и частицей — он стоит внутри самих величин. Положение и скорость у частицы устроены так, что определённость одной существует за счёт неопределённости другой; у них общий бюджет резкости, и бюджет этот нельзя увеличить, его можно только делить. Никакой прибор, сколь угодно деликатный, не обойдёт это — как никакая точность черчения не построит треугольник с двумя прямыми углами. Мы не мешаем частице иметь обе определённости. Их обеих попросту не существует вместе.

Чтобы почувствовать, что здесь нет квантового колдовства, не нужен ускоритель — достаточно звука. У ноты есть высота и есть момент, когда она прозвучала, и эти две определённости враждуют точно так же. Чистый, долгий тон имеет безупречную высоту — но размазан во времени: спросите, «когда» звучало это ля, и ответ будет — всю минуту. Короткий щелчок безупречно расположен во времени — но спросите его высоту, и ответа нет: щелчок не имеет ноты, в нём смешаны все частоты сразу. Хотите точнее момент — жертвуете высотой; хотите чище тон — жертвуете моментом. Между щелчком и вечным тоном лежит вся музыка: каждая реальная нота — компромисс, ровно настолько определённая по высоте, насколько согласилась расплыться во времени. Всякий звукорежиссёр и всякий радиоинженер живёт внутри этого компромисса ежедневно и не видит в нём мистики: таково устройство любой волны. Квантовая механика добавила к этому лишь одно, но сокрушительное: вещество тоже волна. И потому теснота, знакомая музыканту, оказалась вшита в сам фундамент материи — не как помеха знанию, а как форма существования.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.